

О БЕРГГОЛЬЦ

МЕЧТА



ДЕТИ ЗДАТ ЦК ВЛКСМ

О. БЕРГГОЛЬД

М Е Ч Т А

ПОВЕСТЬ

Рисунки Г. Фигингоф



Центральный Комитет
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1939 Ленинград

Часть первая

1

Алеша Воронов, подпасок, лежал на поляне лицом к небу и ждал самолета.

Солнце стояло над самой поляной, чуть подувал ветер, из недалекого леса свежо пахло грибами. Грибы росли в темноте и прохладе, они старательно, тихонько пучились из земли, и каждый гриб с великим трудом приподнимал на шляпке сморщенный лист или кучку хвои, или целый прутик. Рядом осторожно бежал ручей и тоже трудился — перебирал камешки, точил землю. Бытalo бродившей лошади таинственно ударяло, потом смолкало, потом опять ударяло, и вдруг слышался за деревьями тревожный стук копыт и ржание: тогда казалось, что конь сказочной красы, огромный, бродит по лесу.

А на поляне важно паслись коровы, вздыхая и жуя; бархатные телята то прыгали боком, то стояли и о чем-то думали, расставив тонкие ножки; бык проходил, тяжко мыча, низко склонив голову к земле, точно искал чего-то.

Ежеминутно, без остановки, всё вокруг трудилось, росло и думало.

Алешка лежал на спине и ждал самолета. Прозрачные ниточки и кружочки плыли перед его усталыми глазами. По солнцу он знал, что в этот час полетит самолет. Неизвестная воздушная дорога пролегала в высоте над Алешкиной головою; неизвестный прекрасный и гордый самолет почти ежедневно проходил по этой дороге, и Алешка нетерпеливо ждал, что летчик приземлится где-нибудь поблизости от поля-

691647

3

ны. Только один Алешка знал, что случится тогда, но он никому не говорил об этом.

Солнце еще не обманывало Алешку. Когда оно вышло на самую середину неба и тени ото всего на земле сделались очень коротенькими, — из-за леса тихо раздался гул, точно гуденье крупного майского жука. Гул становился все ближе, все торжественнее, и вот в синеве неба показались прямые, раскинутые крылья, местами поблескивая, как вода. Алешка затаил дыхание: что это? Самолет летит низко, так низко, что видно даже, как вспыхивает красным и тотчас же исчезает звезда на его крыле, точно много звезд осыпается с крыла. Алешка уже вскочил, готовясь бежать, но самолет пролетел и скрылся за лесом, где стояла деревня. Гуденье мотора стихло как-то внезапно.

С минуту Алешка стоял неподвижно, потом его озарила догадка: самолет опустился в деревне! О, если б можно было бежать туда! Но бежать было нельзя.

Время тянулось; Алешка, замирая, прислушивался — не улетает ли самолет; нет, слышны только звуки долгого летнего дня... нет, не улетает... нет, самолет в деревне!

Алешка радовался и томился от ожидания.

Вечер наступил; стадо медленно двигалось к деревне в легкой и нежаркой солнечной пыли, задумчиво брякали ботала и колокольчики. Алешка нетерпеливо щелкал бичом, сердито кричал на скотину. Он побежал бы, если б не боялся пастуха Дмитрия Ивановича. Алешка уже знал все, что сейчас будет. Как долго ждал он этой минуты, — не опоздать бы, не пропустить самого главного...

... Самолет стоит посреди улицы. Колхозники столпились вокруг, курят и тихо переговариваются. Алешка подходит прямо к самолету и дотрагивается до звезды. Звезда тихонько гудит. Тут из-за крыла появляется летчик. Летчик — огромного роста, на его воротнике голубые петлицы и маленькие серебряные крылья, с блестящего шлема снопиками разлетается сиянье. Алешка сразу подходит к летчику, делает шаг назад и смело, твердо говорит сотни раз сказанные самому себе слова: „Товарищ командир! Прошу вас, как сын погибшего красного партизана и брат без вести пропавшего красноармейца, возьмите меня в красный воздушный флот управлять воздушными кораб-

лями!" А самолет уже весь гудит и трепещет, и летчик, подумав мгновенье, говорит: „Едем... Пока моим помощником будешь, а там увидим...“

С гордой улыбкой вошел Алешка в село и ахнул, когда увидел, что самолета уже не было.

Воздух темнел, в избах садились ужинать, в окно крайней избы было видно, как полыхал в печке огонь. Самолет не опускался в деревне. Вокруг, как и всегда, было спокойно и тихо.

И все-таки казалось, что в этот вечер что-то случится...

Так жил и мечтал в дремучих просторах нижегородского края, в колхозе Заручевье, тринадцатилетний Алексей Воронов.

Ни деду, ни даже отцу Алешки, которые тоже когда-то были мальчишками, никогда не пришла бы в голову такая дерзкая мечта. Ведь в Заручевье до революции не заходил чужой человек, не залетала чужая птица.

Но Алексей родился через два года после революции, когда все люди нашей страны учились мечтать, дерзко переделывая мир.

Алешина мать умерла, не успев выкормить его; отца расстреляли белогвардейцы; брат пропал без вести на гражданской войне. Алеша представлял своего отца-партизана по рассказам, песням и книгам о гражданской войне, прочитанным в школе. Он читал эти книги жадно, с жаром, с переживаниями; ему хотелось узнать об отце и об его времени еще больше: он расспрашивал об этом деда, но дед, совсем уже дряхлый стариk, ничего не мог сказать внуку, кроме туманных, отрывистых фраз: „Отец твой неспокойный был мужик... Гордый был человек, подчиняться не любил... Была в нем сила... была сила... а росту мало было. Вы оба рослые, в мамашу...“

Но даже этих отрывистых фраз Алешке было достаточно, чтобы представить себе могучего, гордого отца, сражающегося с белыми генералами.

А еще чаще, чем об отце, Алешка думал о пропавшем без вести брате-красноармейце. Дед говорил: „Пропал без вести, —

значит, погиб". Но Алешка был твердо уверен, что брат жив, что он стал героем и большим командиром, что когда-нибудь он появится в славе и почестях и перед всеми назовет Алешку кровным братом. Об этой мечте, как и о самолете, Алексей никому не говорил.

Алешка и дед жили бобылями — только вдвоем, без хозяйки. С пяти лет Алешка работал на пахоте вместе с дедом, погонял коня. Но дед становился все старей, с землей справляться ему было трудно, и поэтому, когда в деревне организовался колхоз, дед записался сразу; своего убогого коня они сдали обществу, а дед стал работать колхозным ночным сторожем...

Он ходил ночами по деревне и стучал колотушкой. Кроме колотушки, у деда было еще старинное тяжелое охотничье ружье. Ведь весной двое раскулаченных подожгли часовню, где хранилось колхозное зерно. А когда их увозили из села, и подводы, грохоча, подъезжали к околице, один из них, Герасим Иванов, обернувшись, затряс волосатыми кулаками и завыл, закричал во весь голос: „Мы еще вернемся, голубчики!.. Погоди!.. вернемся!“

Колхозники теснее придинулись друг к другу, ничего не крикнув в ответ Герасиму. Кулаков увозили на закате; яркое, оранжевое солнце было в подводу; легкая пыль, клубившаяся под колесами, рыжая голова Герасима, рыжие кулаки его — все было огненным, как пожар. Алешка был рад, что Герасима увезли, и потом несколько раз, отправляя дедушку в караул, говорил ему со страхом и злобой: „Ты, дедушка, смотри... Герасим вернуться обещал... Ты чуть что, меня зови...“

И дедушка ходил ночами по колхозу, оправлял за спиной ружье и заботливо стучал колотушкой. Издалека казалось — это мерно бьется бессонное сердце лесного колхоза.

Наступало утро, розовое и зябкое. Старый сторож, как сова, скрывался в свою избушку, а по улице важно выступал бородатый пастух Дмитрий Иванович и через каждые сто шагов останавливался и играл на рожке.

Дмитрий Иванович уже многие годы — и до революции, и в гражданскую войну, и теперь, при колхозе, — играл одну и ту же мелодию, и играл особо, как никто из пастухов в окрестных селениях: с переливами, с остановками, уныло и протяжно звучал рог Дмитрия Ивановича, а вместе с тем в звуках

слышалась спокойная, ясная радость. Алешка с детства просыпался под протяжное, немножко хриповатое пение рожка, но никогда не надоедало ему это милое пение. Он, как и все колхозники, гордился красивой игрой пастуха, хотел научиться так играть сам, но Дмитрий Иванович упрямо хранил в тайне древний секрет своего рога.

Алешка пас телят и коров, много думал и ждал самолета, который появился над ним впервые этой весной.

Время сдвигалось в Алешкиных думах. В прошедшем или будущем — неизвестно — Алешка скакал на коне вместе с Красной армией в бою против буржуев, стрелял и рубил врагов, и кони неслись в искрах, в дыму, в пару, — сквозь перелески, через овраги, ночью... А чаще всего Алешка мчался на самолете над вражескими полками, и внизу разрывались сброшенные им бомбы, и враг трусливо бежал от Алешкиного огня, и сам Ворошилов назначал Алешку командиром эскадрильи самолетов.

3

Самолет не спустился в тот вечер, и с грустью, точно потеряв что-то, Алешка шел по селу, но с тайной надеждой озирался по сторонам, все еще не веря, что ничего не случилось.

И, подойдя к крыльцу, Алешка вздрогнул и замер: у крыльца стоял чужой конь, конь не колхозный — военной стати.

Алешка не знал, что полчаса тому назад по селу проскакал всадник в красноармейской форме и военным твердым шагом вошел в хату председателя колхоза Петра Тарасовича.

Они уже обо всем поговорили, и хозяин усаживал гостя за стол подкрепиться. Алешка вошел и осталбенел, увидев чужого красноармейца.

— Эге, какой бравый хлопец! — воскликнул красноармеец, опускаясь на лавку. Ремни его скрипнули. — Сынок, хозяин?..

— Подпасок, — ответил Петр Тарасович с достоинством. — Сегодня у меня ночует. Садись к столу, Алеша.

Хозяин заговорился с уполномоченным ГПУ (а всадник был уполномоченный ГПУ) до темноты. В избу была внесена десятилинейная лампа. В неярком ее свете ремни и кобура на госте казались еще прекраснее. Сердце Алеши замирало, точно

от страха. Он сел на табуретку против гостя, взглянул на него с восторгом, потупился сердито и опять поглядел.

А уполномоченный был весел и разговорчив: он и его товарищ только что поймали бежавшего кулака, скрывавшегося поблизости в лесу, в брошенном скиту. Кулак был злой, рыжий; сказал, что не один, что будто бы помогали ему из колхоза.

Уполномоченный сразу прискакал к председателю и ему было весело, что он настигает измену, как в свое время убегающего от открытой схватки врага.

— Чей же ты, паренек? — спросил он Алешку, улыбаясь и отправляя в рот поджаристую корку с каши.

— Колхозный, — хрюпло молвил Алешка.

Уполномоченный захохотал, но не обидно.

— У него отца белые растерзали, — с уважением сказал Петр Тарасович и почему-то строго взглянул на Алешку. — Отец партизаном был...

Уполномоченный поглядел на Алексея тоже строго, но снова улыбнулся.

— Сын революции, значит, — сказал он. — Вырастет — бойцом будет... Которого года, хлопец?

— Двадцатого, — ответил Алешка, подавился кащей и неожиданно для себя басом добавил: — Я сейчас хочу.

— Что — сейчас?

— Бойцом... красноармейцем... как вы.

Он поднял черные, отцовские глаза на командира и замер, потому что высказал свою заветную мечту первый раз в жизни, и боялся, что этот мужественный, взрослый, чужой человек засмеется над ним.

Но уполномоченный не улыбнулся даже. Он по-новому поглядел на Алешку и ответил ему серьезно и ласково, точно себе на свои мысли:

— Это правильно. Все от мала до велика желают бойцами быть... Это нам так и нужно: момент такой. Но бойцом ты сейчас не будешь, это тебе рано... А вот я в Ленинграде был — знаю, что там ребята в Красной армии есть, в частях, воспитанцы...

И, обратившись к хозяину, уполномоченный добавил:

— Много их там теперь, Иван Тарасович. Из беспризорных порядочно... Армии приходится беспризорных в воспитанники

брать. Надо брат, выручать ребятишек, боевую дорогу им открывать...

... Уже ускакал уполномоченный из села, ушел Петр Тарасович собирать срочное совещание ячейки: четверых коммунистов-колхозников, а Алешка лежал без сна на сеновале, под самой крышей, глядя сквозь щели на беленькие звезды.

Он повторял в голове весь разговор с командиром от слова до слова, и командир казался ему все замечательнее.

„Не брат ли это мой, красноармеец, пропавший без вести?“ вдруг подумал Алешка и даже испугался этой догадки... Ведь таким и должен быть его брат, как этот командир. Алешка отчаянно сокрушался, что не спросил имени и фамилии уполномоченного, но моментально успокоил себя тем, что завтра у Петра Тарасовича спросит. Затем он стал обдумывать, уже не мечтая, а трезво, по-взрослому, как поехать в Ленинград, как поступить в летнюю школу воспитанником. А сделать это было очень трудно: надо денег на дорогу достать, нужно найти в Ленинграде дедушкина племянника, дядю, который много лет назад приезжал к ним в деревню... Но только бы это суметь, а там уже дело пойдет... И снова видел себя Алешка в полной летной форме, героем, похожим на отца, брата и уполномоченного; он вздыхал и гордо улыбался в темноте, лежа под самыми звездами...

А в сельсовете, за плотно прикрытыми ставнями, у маленькой лампочки, совещались озабоченные коммунисты колхоза.

— Имеется подозрение на Ивана Кротова, — вполголоса сообщал Петр Тарасович, оглядываясь на ставни.

По деревне ходил Алешин дедушка, и слышно было, как он заботливо стучал в колотушку.

В это время уполномоченный ехал светлой лунной дорогой, радуясь, что настиг врага. Сладко пахло вокруг зреющими хлебами, усыпительно стрекотали кузнечики. Одиночко кричал во тьме дергач. Уполномоченный вдруг на мгновение засыпал (уже трое суток провел он без сна) и видел коротенькие, полные опасных приключений сны. Просыпался, пришпоривал коня и снова на мгновение засыпал, видел сны и снова тревожно просыпался. Он долго слышал колотушку, и сейчас, за десять километров от деревни, все казалось ему, что слышит, но это бессонная молодая кровь тихо стучала в виски.

Алешка так и не узнал адрес дедушкиного племянника: дед позабыл, ведь это ему было ни к чему. Стариk никуда не уезжал из Заручевья всю свою жизнь. Он ничего не мог рассказать Алешке, как надо ехать в Ленинград, да еще все время называл Ленинград Питером. Алешка знал только дорогу на станцию — шестьдесят верст, — хотя на станции никогда не был и живой самолет увидел прежде живого паровоза.

Алешка решил уйти тайно; он побоялся — узнают, засмеют и не отпустят. Он только немного поговорил с дедом: жалко было старика.

Дед не очень был удивлен, когда Алешка сказал, что уйдет из колхоза в Ленинград и поступит в Красную армию. Он только удивился, что внук вдруг стал такой большой и так серьезно разговаривает.

Но даже дед не думал, что Алешка собирается в дорогу так скоро. Всего через три дня, на рассвете, когда еще и коровы и муhi спали, Алеша Воронов ушел из колхоза, ни с кем не попрощавшись, никого не жалея, не оглядываясь на оконлицу.

Скрипели новенькие лапти, мешок поколачивал в спину, полевая птичка выпорхнула из-под самых ног и долго низко летела над дорогой перед Алешкой, точно указывала путь.

Алешка быстро шел, темнобровый, строгий, и на пригорке, на перекрестке, первый раз остановился и огляделся по сторонам.

Земли кругом было столько, что только бы летать над нею, а в четыре стороны по земле расходилась дорога.

Тут, рядом с древним крестом, Алешка увидел высокий, выкрашенный белой известкой камень. На нем были нарисованы яркие красные стрелки, и было написано, куда какая дорога. Алешка остановился перед камнем и стал читать надписи. А пока читал, издалека откуда-то услышал слабый звук не то военной трубы, не то пастушьего рожка...

Алешка улыбнулся, вздохнул и пошел дальше, все прямо, как указывал камень со стрелками, поставленный на перекрестке.

Денег на билет до Ленинграда Алешке нехватило. Кассир в окошечке только свистнул и подозрительно посмотрел из-за какого-то рычага на Алешку, когда тот попросил билет до Ленинграда.

— Давай докуда денег хватит, — сквозь зубы сказал Алешка, а сам сжал кулаки и подумал: „Все равно доберусь, не остановишь“.

В те дни, как некогда в дни гражданской войны, вся страна пришла в движение.

Молодые инженеры и архитекторы ехали в безлюдные и дикие места, мечтая о строительстве белоколонных новых городов, о блистающих, как жар-птицы, электростанциях. Молодые зоотехники, агрономы, садоводы стремились в пустые, бесплодные пространства, в пояса вечной мерзлоты и вечного зноя, мечтая о том, как будут снимать с этой земли могучие урожаи.

Они везли с собой планы дремучих садов-лесов с наливными яблоками и сияющими фонтанами; они подсчитывали будущие стада золоторунных овец, табуны золотогривых коней, которые, проносясь, сотрясают землю и воздух.

Старые питерские пролетарии ехали на внезапно возникшие в тайге и ущельях заводы обучать труду молодых рабочих. Молодые учителя ехали к дальним племенам и народам, всего год назад обозначившим свою речь буквами, мечтая о том, как одна за другой появятся там школы, университеты, академии. Вместе с ними ехал подросток Алексей Воронов, мечтая о том, как он будет учиться управлять быстрокрылым самолетом.

Алексей проехал зайцем еще две станции после той, на которой билет его кончился. Потом, поздним вечером, проводник вытолкал Алешку из вагона, ругался, хотел даже куда-то отправить. Алешка вырвался и спрятался за длинным складом.

Все дальше и дальше уходил поезд, мерцая огнями, а Алешка с отчаянием смотрел на него из-за склада и прерывисто, шумно дышал, точно без слез плакал. Казалось, что все пропало... Вдруг перед ним очутился низкорослый подросток в просален-ной кофте и распластанной кепчонке, — точно вырос из-под земли.

— С курорта? — спросил он хриплым, веселым голоском. — Застукали?

Но, едва взглянув на парнишку, не отрывая глаз от уходящих огней, Алешка проговорил задыхаясь, с гордостью и силой:

— Пешком дойду! Мне в Ленинград надо! — И слезы на мгновение брызнули из его глаз.

— Не реви, браток, — прохрипел парнишка, подмигнув Алексею, — зачем пешком? Со мной не пропадешь. Довезу по первой категории...

Так началась дружба Алешки Воронова с Сенькой Пальчиком, бывалым человеком и курортником.

Сенька был ровесник Алешки; это был низенький, юркий парнишка с круглым лицом и остреньким подбородком, с большими ушами, похожий на летучего мышонка.

Он вез Алешку, как обещал, в поезде, быстро: в аккумуляторных ящиках вагонов. Сначала Алешке было очень страшно; он боялся, что его вот-вот задавит, но Сенька уверял, что уже два года так ездит — и ничего, не попадал в аварию.

На больших остановках ребята вылезали на перон раздобыть какой-нибудь пищи.

Сенька жалобно пел и скулил под окнами вагонов. Алешке, как колхознику, побираться было стыдно, и Сенька выдавал его за глухонемого братишку.

— Граждане! Будьте сознательны! Подайте глухонемому на пропитание, — басом, важно говорил он и кланялся с достоинством.

Пассажиры подавали немного, подозрительно косились. Алешка изголодался и испачкался, глаза его впали, руки покрылись цыпками, по вечерам его тряслось.

Ему казалось, что уже больше ста дней минуло с тех пор, как он ушел из родной деревни. Это казалось Алешке не только оттого, что много чужих станций мелькнуло перед ним, но и оттого, что Сенька удивительно рассказывал о своих путешествиях. И чем больше слушал Алешка, тем невозвратимей, тем дальше становилась деревня, тем шире открывался мир, и несколько раз Алешка даже подумал, не побродить ли и ему по свету.

— А правда, что море синее? — жадно спрашивал он Сеньку.

— Правда! Ей-богу! В руку зачерпнешь — и в руке оно синее, — рассказывал Сенька и сам удивлялся.



В тревожных, лихорадящих окнах Алешка видел сине-синее и очень теплое море. Но больше всего, ему хотелось разузнать про Москву и Ленинград.

— А Кремль какой? А ты Ленина в мавзолее видел?

— В Москве все сам увидишь. Мы в Москве долго погуляем, а может — и совсем останемся.

— Я не останусь. Мне сразу в Ленинград надо.

Алексей все еще не сказал товарищу, зачем ему в Ленинград. Сенька же знал только то, что Алешка бросил колхоз и едет в Ленинград, и соображал: „Должно быть, дела у Алешки почище, чем у меня... Видать, птица он крупная“. Сенька понимающе, многозначительно молчал. Он был доволен, что полезен серьезному, особенному человеку.

Как только они вылезли из-под вагонов в Москве на Казанском вокзале, Алешка, дрожа и пошатываясь от усталости, тут же снова сказал Сеньке, что должен немедленно ехать в Ленинград.

— В Ленинград поезда ночью идут, — ответил Сенька. — Четыре часа до посадки.

И ему стало грустно, что надо расстаться с Алешкой. А Алешка смотрел на Москву вытянувшись, запавшие глаза его горели, лицо было решительным.

— Где Кремль? — спросил он, и Сенька Пальчик повел товарища к Кремлю. Алешка шел, как во сне или в воде, голова у него кружилась, почему-то делалось все страшней и радостней.

— Вот он, — сказал Сенька Пальчик, останавливаясь, и Алешка увидел сквозь деревья темную зубчатую стену и древнюю башню с маленькими окошечками и острой крышей. А высоко над стеной, весь в светящихся окнах, стоял длинный дом. И над домом трепетал огненно-красный флаг. Флаг то вдруг потухал, то вспыхивал еще ярче и все время дрожал, подпрыгивал, летел, шевелился, как живой. Алешка только один раз взглянул на древние стены и башню и впился глазами в огненный живой флаг, — и это был Кремль.

— Сенька! — воскликнул он. — Ведь там Ворошилов живет!

— Живет, — ухмыльнулся Сенька.

— И Сталин! И Буденный! И Калинин!

— Все тут живут, — с удовольствием подтвердил Сенька и подумал: „Нет, верно, ты и вправду не бывал в Москве“.

— Сенька! Вот они тут живут, а я рядом стою!..
— Не ты один, и я стою...
— Сенька! Я поскорей в Ленинград поеду. А? Я расскажу тебе, Сенька, зачем я в Ленинград. Пойдем поскорее. А?

— Пойдем, — вздохнул Сенька.
Несколько минут они шли в молчании.
— Ну, рассказывай, — попросил Сенька и опять вздохнул.— Рассказывай все.

— Сенька, — начал Алешка торжественно, — ты меня домчал, ты мне помог. Я тебе ввек этого не забуду. Но если ты сейчас усмехнешься на то, что я скажу, я тебя побью, Сенька.

Сеньке было интересно, он решил стерпеть угрозу и не выругался, только подумал: „Что это он? Псих какой-то...“

— Ладно, говори, не улыбнусь...
— Я, Сенька, героем буду, летчиком, — сказал Алешка вдохновенно.— Я еду в Ленинград в летную школу поступать. Я решил, что летчиком буду, и я добьюсь, чего захотел, а не добьюсь... не знаю уж... Лучше бы мне не жить тогда...

Алешка сказал и быстро взглянул на товарища — не посмеялся ли тот.

— Это здорово,—помолчав, протяжно ответил бывалый человек.— Это здорово.

Он был ошарашен, почти подавлен и не смеялся.

— Это здорово, Алешка...

Мальчики уже пробрались на вокзал и заприметили вагон, под который надо было нырнуть Алешке.

— Я скажу: так и так, как сын красного партизана, хочу служить в Красной армии... Я смело, прямо скажу, меня возьмут... — говорил Алешка в сотый раз и вдруг, спохватившись, вцепился в Сенькин ру́сав. — Сенька! — воскликнул он. — Давай вместе! А? Попросимся вместе. А? Уполномоченный говорил — берут беспризорников в Красную армию, выручают.

Круглое Сенькино лицо стало вытягиваться, и лоб собрался в гармошку.

— Подумать надо,—медленно сказал он.
— Да чего думать-то? Не хочешь? Так и говори.
— Подумать надо, — еще раз протянул Сенька и потом, поежившись, робко взглянул на Алешку и сказал:—Ладно! Надумаю, так приеду, отыщу тебя.

— Так ты приезжай, смотри. Вместе будем. Ну что? Пора? Пора уже?

Алешка был как в горячке. Он то схватывал Сеньку за руку, то, ежась, быстро озирался по сторонам, точно боялся погони...

— Так приедешь, Сенька?

— Приеду...

— Ну, прощай, смотри... Постой! А встретимся-то где?!

Это Алешка прокричал уже почти из-под вагона, забыв, что его могут увидеть.

— Ах, ты... верно, — всполошился Сенька и крикнул вдогонку: — На Неве. Около сфинкса...

— Где, где? Кто? Кто это такой?

— У сфинкса, у сфинкса! — кричал Сенька, — там увидишь... Ой, не понял... Забудет... — Поезд отошел на Ленинград.

Медленно шел Сенька Пальчик от вокзала к своим и думал об Алешке: „Упорный какой... Вот уж упорный. Героем, говорит, буду... Как же, держи карман. Будешь, как привязанный, да и только... Псих какой-то“.

Но вдруг пронзила Сеньку уверенная мысль, что ведь будет Алешка героем. Обязательно будет. И Сенька даже ахнул и растерялся, и впервые показался себе обиженным, жалким, хуже всех на свете.

— Подумать надо, — бормотал он смущенно и шел по темной Москве, маленький, скрюченный, одинокий...

Около полудня приехал Алешка в самый прекрасный и самый суровый город мира — Ленинград.

Глаза у Алешки вспухли и покраснели от бессонниц и угольной пыли аккумуляторных ящиков. Он хлопал воспаленными веками и взволнованно смотрел на большую площадь, расстилавшуюся перед вокзалом. Тонкий, стеклянный звон обиваемого камня был слышен сквозь величественный, как бы океанский гул города: это на площади обивали крепкий гранит и камень. И вся площадь была разрыта, раскопана, как на войне, рабочие копошились в земле, огромные котлы, где вздыхая

и шепча варилось что-то черное, пахли лесным пожаром, а над площадью, пронизанное неярким августовским солнцем, дымно голубело небо.

Алешка подошел к углу и прочитал на дощечке: „Площадь Восстания“.— „Здесь началось восстание народа против царя“, с волнением подумал он. От площади тянулась длинная прямая улица, и вдали, в самом конце ее, нежно мерцал золотой шпиль. „Проспект 25 Октября“, прочел Алешка, и волнение охватило его еще сильнее: „По этой улице сама Октябрьская революция шла! А теперь я иду...“ Как вчера у Кремля, ему сделалось страшновато, и, озираясь по сторонам, он двинулся вперед по незнакомой, прекрасной улице.

Вдруг на руку Алешке упала сверху крупная и густая голубая капля; он поднял голову: высоко над ним, в деревянных ящиках у стен дома качались маляры, пестрые от краски, как ласточкины яйца.

Странная машина проехала вдоль улицы, мелким дождем разбрызгивая вокруг себя воду, горевшую в радугах, как петушиные хвосты.

Веселье охватило Алешку. Оттого, что он шел по улицам и площадям с грозными и прекрасными названиями, оттого, что все хлопотали кругом, красили, обивали камень, варили смолу, строили, что-то тащили, казалось, что все друг друга знают, давно сговорились, как кому работать, что делать... Алексей Воронов улыбнулся Ленинграду и полюбил его.

Но между тем Алешку покачивало от голода и усталости.

Он шел из улицы в улицу, рассматривая огромные витрины, скрепя сердце, выпросил возле булочной горбушку хлеба, а усталость и тревога одолевали его все сильнее и сильнее. Куда пойти, кого спросить, где летная школа? Здесь, в Ленинграде, с ним не было даже сведущего Сеньки Пальчика. А милиционеры внушали Алешке опасение: тот же Сенька все время говорил в дороге, что „нет никого опаснее милиционеров— сразу забирают в отделение, а там — пиши пропало“.

Алеша слонялся по улицам в страхе, в нерешительности, в жестком раздумье. Город становился все неприветливей, все угрюмей,— чужой, туманный, огромный. Наступал вечер, и высокие здания точно сдвигались. Люди торопились по домам, а Алешке негде было даже переночевать... Туман был холодный.

Где-то глубоко в сердце Алешки шевельнулось раскаяние, что напрасно покинул родной колхоз, — там тепло сейчас, всех знаешь... Алешка еще шептал про себя: „Врешь, дойду, не пропаду“, а ноги его дрожали и подкашивались, в ушах звенело...

Он выбрался снова на проспект 25 Октября, не узнал его в огнях и сумраке и, совсем истомленный, прижался к стене дома. Сколько времени Алешка так стоял, он и сам не знал... Силы оставляли его. „Сейчас лягу и усну“, подумал он и закрыл глаза.

И вдруг Алешка весь насторожился, вытянулся и застыл; военная песня приближалась к нему; ее выговаривала громкая музыка, и глухие удары барабана вторили ей. Мимо Алешки, прямо по мостовой, с оркестром во главе, гордо и стройно шли красноармейцы.

И точно не своими ногами, а катясь на колесиках, Алешка пошел за ними. Музыка все играла. Алешка шел, как во сне, мимо огней, не замечая времени, не чувствуя себя, — шел и шел. Музыка то переставала, то играла снова. Алешка шел и шел в хвосте колонны и чувствовал, что идет куда надо; мельком он увидел, что красноармейцы поднялись как будто бы на мост, потому что кругом блеснула черная, широкая, вся в огненных столбах вода. У больших, высоких ворот какого-то дома колонна остановилась, и барабан замолчал. Красноармейцы медленно входили в ворота. Алешка шел за ними.

Уже много после Алешка со стыдом вспоминал, как он плакал и кричал, когда часовой задержал его у ворот; он все время плачал, пока его вели куда-то через темный двор двое красноармейцев; и когда привели в комнату, где горела лампа с зеленым колпаком, он тоже кричал и плакал. Алешка потом до мучения стыдился этих слез и крика, а тогда ничего как следует не понимал: все тряслось у него внутри, каждая жилка.

Грузный, тяжело затянутый в ремни начальник пришел и сел за зеленую лампу и глядел оттуда, как из воды. Лицо у начальника было толстое и круглое, лукавое, без бороды, без усов, и говорил он толстым голосом, спокойно усмехаясь и поглаживая себя по круглому подбородку.

Двое курсантов, которые привели сюда Алешку, что-то рассказывали начальнику. А Алешка все плакал, плакал...

— Да ты не реви, не реви,—с мягким украинским акцентом говорил начальник,—ну не реви, парень, слышишь? Ну, дайте ему воды, товарищ, сделайте одолжение...

Алешка выпил стакан воды и, пока пил, помолчал немного.

— Ну, кто ты такой? — спросил начальник. — Чего ревешь?

— Товарищ командир! — крикнул Алешка, но не так, как мечтал, а разъезжающимся голосом, пискливо как-то. — Я летчиком хочу быть! Героем!

Товарищ командир захочотал, схватившись обеими руками за стол. Алешка опять заревел, но уж говорил сквозь слезы, икая и всхлипывая:

— Я из колхоза сюда приехал... Я все хотел... все хотел, товарищ командир... под вагоном! Возьмите меня, товарищ командир... Прошу вас, как отца родного... Я не то что какой... я сам захотел... а он меня не пускать... А у меня в Ленинграде... никого... кроме вас... никого, кроме вас!

Командир встал, задев стол животом, и подошел к Алешке. Мягкой своей рукой он взял за плечо подростка.

— Да ты не реви только, — тянул он с лаской и досадой, — ну, не реви... В летчики собрался, а слезы до полу распустил. Товарищ Егоров! Отведите-ка его спать, завтра потолкуем. Ну, слышишь, парень? Взяли мы тебя в школу, курсантом будешь. Фу ты! Какую сырость развел!

Алешка поднял голову: командир стоял и улыбался. Двое курсантов тоже улыбались, хоть и смотрели на Алешку серьезно, с жалостью.

Алешка немного затих и поднялся со стула.

— Ну, иди спать... — говорил командир, тихонько покачивая Алешку за плечо. — Тебе, видно, высаться хорошенько надо. Под душ его, товарищи, и спать... спать... Что ж тут делать? Летчиком, говорит, хочу быть, из деревни приехал! Эх, дети, дети — цветы жизни...

Все еще всхлипывая и пошатываясь, Алешка шел по слабо освещенному, пахнущему сукном и сапогами коридору. Где-то в глубине здания грустно, как в колхозе, играл баян. Потом, всхлипывая, ежась, Алешка старательно мылся, тер себя бес-

пощадно, до ссадин, втайне надеясь, что красноармеец, стоящий рядом, оценит его старательность. Ему дали грубое мужское белье на взрослого, и он запутался в подштанниках. Надели шинель, которая волочилась за ним, как мантия. Ощутив сквозь белье шершавое сукно шинели и почуяв на ногах просторные, тяжелые сапоги, Алешка вскинул свои темные, немного сумрачные глаза на красноармейца и недоверчиво, сквозь всхлип улыбнулся. Курсант отвёгил ему широкой, довольной улыбкой. Алешка снова шел за ним по коридору, опять услышал баян — уже поближе. Шинель его волочилась, сапоги стучали.

— Ну вот, ложись, — сказал курсант, — вот твои приятели, тут же, уже спать залегли...

В полутьме белели подушки и тянулись покрытые серым койки. Алешка опустил голову на подушку и не мог понять, спит он уже или нет. Не то во сне, не то наяву он увидел, как круглоголовый, толстый парнишка приподнялся рядом и с интересом поглядел на него.

— На довольствие зачислили? — как бы пробасил парнишка, но Алешка не ответил. Потом мелькнуло перед ним круглое лицо главного командира, и точно кто-то громко сказал ему в самое ухо:

— А командир-то на Тараса Бульбу похож...

„Верно, — подумал Алешка, — а командир-то наш был сам Тарас Бульба. Э! вон оно что! Тарас Бульба! Тарас Бульба!“ Лицо командира закружилось, запрыгало.

Совсем близко, по-деревенски вздохнул всеми ладами баян.

— А дедушка-то, старенький, далеко остался, далеко, — опять точно сказал кто-то Алешке в ухо, и Алешка увидел дедушку. Горе захватило ему дыхание, он хотел охнуть, крикнуть, но опять запрыгало перед ним огромное лицо командира — Тараса Бульбы, запела в руках у него чистая труба, а над самой головой, надвигаясь, закрывая белый свет, загудел самолет, и Алешка спал уже без видений.

Мечта всегда воплощается не совсем такой, какой она жила в душе человека. Правда, Алешку взяли в ту военную школу, куда он пришел вслед за колонной курсантов, но школа

готовила не летчиков, а водителей танков, танкистов. Узнав об этом, Алешка смутно встревожился, но решил ждать, что будет дальше...

В первое же утро, как только Алешка проснулся от незнакомого, звонкого сигнала будки, он увидел на постели перед собою розового, важного толстяка девяти лет, с яркими карими глазами, с очень круглой головой, как будто обтянутой коричневым плюшем. Алешка почтительно глядел на него. А толстяк, строго взглянув, спросил:

— На довольствие зачислили?

Вопрос был задан таким строгим и глубоким басом, что Алешка просто оробел.

— Не знаю, гражданин, — робко ответил он.

— Я не гражданин, — еще строже и басистей ответил толстяк и хотел сделать суровое лицо, но оно само расплылось в самодовольной улыбке. — Я военнообязанный Михаил Савельев. Брат нашего курсанта Савельева.

Мальчики помолчали. Алешке было завидно.

— Вы как, давно тут живете? — спросил он как можно почтительней.

— Давно, — важно ответил Миша и, помолчав, добавил: — По выходным в кино ходим... А то так гуляем...

— Хорошо гуляете?

— Хорошо. Только иной раз гражданское население проходу не дает. Конечно, видят: красноармеец идет, — им интересно, останавливают, пристают...

— Кто ж это — гражданское население-то?

— Ну, кто... Очаговцы там или детский сад... Конечно, им интересно...

Миша опять захотел сделать строгое лицо, но вместо этого снова улыбнулся.

Тут веселый, весь точно на шарнирчиках, парнишка подскочил к нему и неожиданно, совершенно фамильярно провел ладонью сверху вниз по важному лицу Миши. Тот обиженно, но с достоинством захлопал веками.

— Ты его, товарищ, не слушай, — весело затрещал парнишка, похлопывая Алешку по плечу, точно всю жизнь знал его, — это тип! А я — Василий Фомин. Альт. Здорово! Это — тип, ты его не слушай...

Тип пробасил, моргая:

— Ты сам...

— Какой же я тип? — затрещал Вася. — Кто на кухне потихоньку объелся? — Раз! Кто в отпуску с гражданскими, с очаговцами поцарапался? — Два! Кто хвастался, что на контрабасе будет играть, а как взялся за контрабас, так чуть не лопнул? — Три! Кто от жадности в поварята просился? — Четыре! А говоришь, что не тип! Верно ведь — тип? Сознайся уж, не скрывай социальное положение!..

Оскорбляя Мишу, Вася глядел на него так лукаво и ласково, что Мишин авторитет стремительно падал в глазах Алешки, но зато сам Миша становился ему все милей и приятней.

А Миша моргал глазами все усиленнее и уже начинал сопеть...

— Кто морковкой подавился?

— Ты его не обижай, Вася, — весело перебил Алешка, и теплое неведомое чувство, точно кровь, прихлынуло к сердцу, — мы... мы его гражданским тоже не дадим обижать. Верно? Мы дружиться будем!

Васька кивнул головой и подмигнул одобрительно. Миша молча вытащил из-под подушки грязную карамельку и, немного стыдясь своей доброты, протянул ее новому товарищу.

Алешка в то же утро узнал, что оба мальчика состоят в музыкантской команде. Вася уже прилично играл на альте, уже знал и нес службу сигнала; у Мишки из музыки пока еще ничего не выходило. Он брался то за альт, то за диксант, то за контрабас, но тоже числился в музыкантской команде... Невнятная тревога еще больше одолела Алешку, как только он узнал это.

— Меня, что ж, тоже в музыканты зачислят? — спросил он у Васьки на третий день к вечеру.

— А что ж, плохо, что ли, — ответил Вася. — Ты играть быстро научишься, грудная клетка у тебя широкая, я уж вижу... У нас у троих она ничего. Да разовьется еще — только труби...

А Мишка при этих словах выпятил вместо груди живот и самодовольно огляделся по сторонам.

„Я летчиком быть хотел... Самолетом управлять“, хотел ответить Алешка, но промолчал и только растерянно, с отчаянием взглянул на ребят, как глядел несколько дней назад на уходящий поезд.

Минута прошла в тревожном молчании...

— Нет, ты скажи, — чем плохо музыкантом быть?! — воскликнул Вася, — чем плохо? Пока танкистом не стал, я обязательно музыкантом буду... Чем плохо-то? — Он вскочил на стул, взмахнув руками, точно взлетел. — Кавалерия мчится на гадов, от лошадей пар, искры из-под копыт, а ты — впереди всех, на белом коне, трубишь, зовешь в атаку, в атаку! В атаку!.. И все — за тобой! В атаку! В атаку!

Васька закинул голову и пропел боевой сигнал. Яркие, очень черные глаза его блестели на остреньком лице.

Потом он соскочил со стула и победно взглянул на товарищей.

— Я вот о чем думаю: как только война, я сразу туда. Трубачом! Сигналистом!.. А думаешь, когда наши победят, там музыки не потребуется? Тут ее, брат, столько потребуется, что только успевай играть!

— Без перерыва на обед играть придется, — убежденно пробасил Миша.

И оба мальчика снова впились глазами в опечаленного, растерянного Алешку, с тревогой ожидая от него важного ответа.

Алешка встал, обдернул все складки взрослой гимнастерки назад так, что стал похож на гуся, подтянул собравшиеся в гармошку просторные голенища. Новая решимость наполняла его; он чувствовал, что должен с чем-то расстаться, что-то должно надолго или навсегда отойти от сердца, и предчувствие этого прощания волновало Алешу своей серьезностью и значительностью.

— Покажи-ка мне, где вы играть учитесь, — решительно попросил он Ваську.

— В акурат до сыгровки полчаса, — ответил тот расторопно и повел Алешку в музыкантский флигель.

В просторной комнате Алешку ошеломило сияние многих труб, которые сияли отовсюду, как свернутые солнца, чехлы были уже сняты с них. Сам воздух казался серебряным и ломким от их сияния. Алешка погляделся во все инструменты, большие и маленькие, и увидел там свое — то вытянутое, то расплющенное — лицо, — не лицо, а просто рожу! Алешка показал во все трубы язык, рожа тоже показала язык. Потом Алешка,

по Васькиному указанию, подул в каждый инструмент, пугаясь и радуясь их звуку. Каждый инструмент имел свой особый голос, как живой человек, а Васька говорил, что каждый еще можно заставить играть на разные голоса. Алешке сразу захотелось научиться играть — и не на одном, а на всех инструментах. Но больше всего понравилась ему сложная и печальная флейта.

Потом он сел в уголок, слушал и смотрел, как проходила сыгровка.

Начальником оркестра был товарищ Егоров, тот самый, что был лично прикреплен к воспитанникам. Товарищ Егоров весь был тоненький, стремительный, весь как будто вытянутый вверх, хотя совсем невысокий. Он ходил быстро и легко, точно на одних носках, и у него были такие же длинные, тонкие брови, как у самого Алешки. Алешка не отрываясь следил, как Егоров управлял оркестром. На лице Егорова, ни на минуту не уставая, работали брови, да и все его лицо менялось чудно и ежеминутно: то оно было ласковым, то повелительным, то гневным; и оттого, какое лицо было у Егорова, недвижно ли, сдвигались ли его брови, или метались по лицу, так играл и оркестр: то гневно, то повелительно, то грустно. Все эти три дня Алешка не замечал ничего особенного в Егорове — курсант как курсант, только тоненький и ходит очень легко, и светлые глаза смотрят ласково и твердо.

Но сегодня, сейчас, перед оркестром, товарищ Егоров вдруг стал необыкновенно красивым, сильным и властным...

„Так вот он на самом деле какой, — удивленно и радостно думал Алешка и не мог оторвать от Егорова глаз. — Так вот он какой!“

И, слушая музыку, боевую и горячую, Алешка думал еще, что это и есть та самая музыка, которую будут играть, когда наши победят. А управлять тем оркестром будет товарищ Егоров. Какое лицо у него тогда будет! Даже страшно подумать!

— Егоров-то у нас какой! Я все на него смотрел, — только и мог сказать Алешка Ваське, когда шли ужинать.

— У него звезда на спине... — значительно ответил Васька.

— Как на спине?

— Так. Басмачи вырезали. Он с басмачами, ну с кулаками, где-то в Средней Азии сражался. Они его один раз в плен забрали и давай мучить и вырезали ему на спине звезду и

в колючки бросили связанного, без памяти. Наши потом подобрали. Он чуть не умер. Но потом выжил. А метка осталась.

— Так звезда и есть?

— Так и есть! Пятиконечная! Я в бане видел... Он смеется, говорит: „Я теперь меченый, нигде не затеряюсь...“

— Люблю я его, — пылко сказал Алеша, и Васька с удивлением взглянул на товарища. Так взглянул на Алешу и удивился Сенька Пальчик, когда ночью встретил его за длинным складом и Алеша выговорил с такою же силой: „пешком дойду“.

Васька не знал, что в это время в голове у Алешки сверкнула любимая тайная мысль про капельмейстера Егорова: „Не брат ли это мой, красноармеец, пропавший без вести?.. Ведь он мог фамилию сменить“. О, как хотел Алеша, чтоб Егоров оказался его братом!

В тот же вечер начальник школы вызвал Алешку к себе в кабинет и говорил, что Алешке надо поступить в школу и учиться, как и другим мальчикам: к девяти часам утра ходить на занятия, готовить уроки по математике, истории, русскому.

— По математике особо хорошо надо готовиться: для того чтобы быть летчиком или танкистом, надо математику только на „отлично“ знать,—понимаешь, Воронов? И по другим предметам учиться надо тоже на „отлично“, чтобы всем гражданским быть примером, чтоб курсантам не было стыдно за своего воспитанника. Родителям, отцу-матери, за лентяя стыдно, а у тебя теперь не два родителя, а целая танковая школа, — серьезно, как взрослому, говорил начальник Алешке, и Алешка поспешил кивал головой. Он уже понял, что началась другая, настоящая жизнь.

В эту ночь Алешка не спал. Он удивлялся: как же так — ехал, мечтал стать летчиком, чтобы сразу совершать подвиги, геройства, а вышло, что снова надо, как обыкновенному человеку, учиться в школе русскому и арифметике и работать в музыкантской команде... И Алешка не знал, жаль ему или нет, что не стал летчиком, грустно ему или интересно то, что будет дальше, и удивлялся этому.

Всю ночь он не спал, до утра думал о жизни...

Часть вторая

1

В шестом-первом классе все новости прежде других узнавал Валька Капустин, он же немедленно и разглашал их. За это он был прозван „Репродуктором“. Но Валька на прозвище не обижался. Наоборот, оно нравилось ему больше, чем простецкое прозвище по фамилии — „Капуста“. Он даже гордился и, как мог, поддерживал именно звание Репродуктора. Так, прежде чем что-либо сказать, Валька всегда произносил: „Слушайте, слушайте, слушайте!..“

Однажды перед самым приходом учителя Репродуктор последним влетел в класс и, захлебываясь, выпалил:

— Слушайте, слушайте, слушайте! К нам в класс поступает красноармеец.

— Не забудь заземлить антенну! — первая крикнула Роза Цаплина: так кричали Вальке, когда хотели намекнуть, что он врет.

— Заземли сама, — отбрил Репродуктор.

Другие ребята, не такие скептики, как Роза, уже кричали:

— А какой он?!

— Капуста, а ты его видел?

— Высокий похож на цыгана в красноармейской форме с танкистским значком, — сказал Репродуктор без знаков препинания и метнулся за парту, потому что дверь отворилась и Алексей Всронов, стараясь не робеть, вошел в класс вместе с учительницей арифметики.

Ребята встали и сели, не отрывая глаз от новичка. Они уви-

дели перед собою высокого паренька с темными, серьезными, даже немного сумрачными глазами, в аккуратно обтянутой красноармейской форме. Ребята были обрадованы, взволнованы и как-то даже смущены тем, что в классе их появилась эта защитная гимнастерка, этот маленький танк в черных петлицах, этот свежий запах кожи и сукна, — суровый и радостный облик любимой Красной армии.

И пока Воронов, ни на кого не глядя и стесняясь стука сапог, шел на указанную ему парту (он старался итти легко и прямо, как товарищ Егоров), мальчики невольно поправили воротнички, а Роза Цаплина успела обернуться к Сашке Демидову и, выпучив глаза, прошипела ему в макушку:

— Вот только мазни меня еще раз по спине чернилами...

Легкое смущение и волнение в классе не проходило еще долго, хотя ребята сидели тихо.

Не мог сразу сосредоточиться и Алешка; он тоже волновался и хотя старательно списывал цифры с доски, но объяснения не понимал.

„Отстал я“, с досадой подумал он и вспомнил, как вчера его принимали и как директорша говорила ему:

— Отстал ты, Воронов. Смотри, задачу совсем не решил, не умеешь, видно, математически мыслить... И в диктовке ошибок наделал. Смотри, трудно тебе в шестом будет, мы уж думаем, не лучше ли тебе этот год опять в пятом посидеть.

Алеша и сам думал, что трудно будет учиться в ленинградской школе в шестом классе, не лучше ли посидеть еще год в пятом. Но как только директорша сказала об этом, ему стало обидно и стыдно и обязательно захотелось учиться в шестом.

„Ехал героем-летчиком стать, а приехал — второгодником стал“, обидно подумал он про себя.

— Я догоню, — сказал он угрюмо. — Мы только с арифметикой отстали, а ошибки я нечаянно сделал. Я эти правила знаю.

— Ну, посмотрим, — вздохнула директорша. — Раз сам береешься... Тебе помогут, конечно, — учителя, ребята.

— Не надо мне, я сам догоню, — сказал Алешка, почему-то обидевшись, что ему хотят помочь, как отсталому. — Я один справлюсь.

Алешка вспомнил этот разговор, вспомнил, как гордо заявил

воспитанникам и товарищу Егорову, что его приняли в шестой класс, и разнервничался еще больше. Ему даже показалось, что ярко-рыжая, очень маленького роста девочка нарочно так хорошо отвечает у доски только затем, чтоб доказать Алешке, что он ничего не знает. Он заметил, что ребята слушали рыженьку девочку с уважением, а некоторые гордо посматривали на него, точно хотели сказать: „Вот у нас какие есть“.

„Ничего, и я скоро так отвечать буду“, подумал Алешка, механически списывая цифры, а когда после урока учительница спросила: „Воронов Алеша, а ты все понял?“ — он ответил бодро: „Все, Нина Петровна“.

Алешке показалось, что Нина Петровна недоверчиво взглянула на него сквозь свое блестящее пенсне, и он покраснел, как вишня. „В глаза ведь соврал“, подумал он, но тут же решил: „Ничего. Это я не соврал, это я вперед сказал, — пойму все равно. Врать — плохо, а вперед говорить можно...“ Ему стало легче, и он приветливо обвел глазами столпившихся вокруг него ребят. А они только смотрели на товарища-красноармейца и еще не находили слов для разговора.

— А у вас танков много? — спросил первым Капуста-Репродуктор.

Алешка подумал, и глаза его лукаво блеснули.

— Все сто процентов, — ответил он.

Ребята усмехнулись.

— Фасонит! Ну и фасонит, — раздался чей-то ленивый голос, и бледный мальчик с выпуклыми глазами, руки в карманах, плечом толкнув маленькую рыжую девочку, подошел к Алешке.

— Ты скобарь? — спросил он.

Алешка опешил. Он не знал этого слова, но оно показалось ему грубым, скверным, и он увидел, что ребята смущались.

— Скобской ты? Говоришь на „о“, как скобской.

— Нижегородский я, — спокойно ответил Алешка, — а с прошлого года горьковский... А ты чего толкаешься?

— Тебя, что ли, толкнул? — прищурился бледный мальчик, Пашка Стрельников. — Твое, что ли, дело, кого я толкаю?

— Мое, — вызывающе ответил Алешка, и мальчики поглядели друг на друга, как петухи.

— Он всегда такой, — сердито заговорила Роза. — Это он

Червонца толкнул. Всегда всех затрагивает. У, пучеглазый. Завидует, если кто лучше его по математике.

— Сказал бы я... — процидил Пашка, окидывая Розу взгядом, в котором старался изобразить презрение, и, не вынимая рук из карманов, повернулся, качнулся, чтобы толкнуть плечом Розу. Но Алешка успел подставить ему свой бок. Пашка толкнул Алексея, тот не пошевельнулся и только посмотрел на задиру так, что Стрельников постарался состроить лицо еще презрительней и вразвалку, как бы не торопясь, отошел от ребят. Алешка проводил его долгим взгядом.

2

Веселый, немного встревоженный возвращался Алешка домой вместе с Васькой. Он сразу, вперемежку, обо всем рассказывал приятелю, смотрел по сторонам, любуясь городом, и думал. Ему было приятно, что он увидит сейчас легкого, тоненького товарища Егорова, что вечером сыгровка, а с мыслями о доме переплетались новые, волнующие мысли о школе.

Алешка чувствовал, что школа, в которую он пришел, — это особый, интересный, свой мир.

В этом особом мире все уже знали друг друга, имели свои словечки, обычай, заботы; каждый угол в большом, уютном здании был обжит ребятами, все было знакомо им, — все коридоры и коридорчики, цветы на окнах, картины и портреты на стенах, даже баки с водой и решетчатые подставки для цветов. А Алешке надо было только входить в этот мир, привыкать к нему, делать его своим, и это волновало его своей неизвестностью и новизной.

Теперь у Алешки было много забот, тревог и желаний; и ежедневно появлялось новое желание, и каждое желание хотелось обязательно выполнить.

Алешке хотелось стать таким же дисциплинированным, четким, ловким, как взрослые курсанты, быть похожим на них во всем — в походке, в словах, — чувствовать себя настоящим красноармейцем.

Алешке хотелось научиться играть на флейте так, чтобы она слушалась каждого движения его пальцев, каждого выдоха,

чтобы на ней можно было сыграть обо всем, что думаешь и переживаешь.

С сегодняшнего дня Алешке захотелось учиться лучше всех, захотелось, чтобы Пашка Стрельников боялся его, чтоб ребята гордились его отличными ответами так же, как ответом Червонца, чтоб курсанты и товарищ Егоров знали об этом.

Сразу после обеда Алешка сел за уроки. Урок по географии он выучил легко, в карте Азии разобрался, и когда, шепча названия, обводил полуострова, невольно подумал: „Вот бы полетать над нею“. На минуту заныло сердце. Алешка сурово нахмурился и закрыл книжку. Упражнение по-русскому сделал быстро и полюбовался своим почерком—ясным, круглым и ровным... Зато с тревогой приступил к задачам, и скоро тревога стала еще сильнее. Алешка не понимал, как составлять пропорции, как их решать. Он испортил кучу бумаги, время бежало, а задача все не выходила. Алешка нервничал, вздыхал, стиснув ладонями виски, думал и думал, но ничто не помогало. Прибежал Мишка с набитым ртом, повертел плюшевой головой, строго сказал, что пора на сыгровку. У Мишки из музыки все еще ничего не выходило. Егоров говорил, что Мишке на ухо медведь наступил; тогда Мишка решил взяться за барабан, воображая, что барабан не музыка. Вася Фомин по привычке поддразнивал приятеля:

— Ты, Мишка, лучше сам, вместо барабана в оркестр попросись. Больше толку из тебя будет.

Но Мишка не обращал внимания на эти унижающие его достоинство остроты и присутствовал каждый раз на сыгровке с таким солидным и строгим видом, точно был по меньшей мере начальником оркестра. Когда же Мишке разрешили сесть за барабан, то получилось, будто у барабана выросли коротенькие ножки и ручки, которыми он сам себя злобно лупит в бока, а Мишки из-за барабана совсем не было видно. Все, отворачиваясь, чтобы не обидеть Мишку, тихонько смеялись, а Васька не мог удержаться и воскликнул:

— Друг, сыграй на барабане что-нибудь очень тихое!

Итак, Мишка сурово приказал Алешке отправляться на сыгровку, и Алешка пошел, так и не решив задачи.

„Ничего, — смутно подумал он, — завтра еще в классе послушаю, — пойму...“

Длилась осень с печальным листопадом в городских садах, с длинными вечерами, полными морского тумана и уличных огней, — первая ленинградская, красноармейская, школьная осень Алексея Воронова.

Шестому-первому классу все больше и больше нравился спокойный, аккуратный, чернобровый товарищ, хотя он ничем особенным себя не проявил, был малоразговорчив и ничего о себе не рассказывал. Но Валька-Репродуктор знал все и всех в школе и со всеми учащимися вел какие-нибудь сложные торговые дела — обмен перышек, резинок и переводных картинок, игру „замри“, приобретение цветного мела и многое другое. Не мудрено поэтому, что Репродуктор узнал от Васьки историю Алексея и рассказал ее ребятам потихоньку, „на короткой волне“, как он сам выразился. Он рассказал, совсем немножко привирая, как Алешка был пастухом и ничуть не боялся бешеных быков, как он ехал под вагонами с беспризорником, побывавшим даже в Монголии, как сам ворвался в школу танкистов. Только о том, что Алешка будет героем-летчиком и что он ищет героя-брата, Валька не рассказал, потому что Васька не знал этих самых тайных и самых любимых желаний Алешки.

Ребята слушали Репродуктора с интересом, и только Пашка Стрельников старался сощурить свои выпуклые глаза в узенькие щелочки, чтобы доказать, что ему все это совершенно неинтересно.

Все знали, что Павел Стрельников, несмотря на свой щуплый вид и вялые, ленивые движения, очень силен. Кроме того, он серьезно играл в шахматы и даже однажды на сеансе одновременной игры на тридцати двух досках, который давал Ботвинник, обыграл самого Ботвинника. А главное — Пашка решал самые трудные задачи быстро и легко, как Араго. Пашка привык к тому, что он знаменитость в классе, держался, как хотел, напускал на себя лениво-пренебрежительный вид, небрежно готовил уроки и не выносил никаких замечаний. Поэтому внимание и уважение к Алеше Воронову — только за то, что тот ходит в красноармейской форме, были Пашке неприятны. Он и не скрывал этого.

И Алешка чувствовал неприязнь Стрельникова, хотя больше не сталкивался с ним. Но не это занимало Алешку. Его все сильнее мучило сознание, что по арифметике он отстает все больше, — за письменную работу он уже получил плохо, на дополнительные из гордости не ходит и никому не признается в том, что отстал. Каждый день Алешка боялся, что его вызовут к доске. Боялся он этого и сегодня. Но первый урок был география. Степан Иванович, строгий, седой и краснолицый учитель, сказал, что будет спрашивать Азию. Ребята насторожились. Пашка, сидящий на первой парте, взял книжку, загородился ею с одной стороны, тяжело вздохнул и сделал невинные глаза, — словом, приготовился подсказывать. Он подсказывал замечательно и как бы ни ссорился с учеником, считал подсказку своим долгом.

— Воронов, — вызвал учитель и строго поглядел на класс.

Алешка охотно пошел к доске. Он хорошо знал рельеф Азии, мысленно он даже наметил воздушную трассу вокруг материка, и когда рассказывал, то весь этот громадный, еще не виданный простор представлялся ему как живой — в дремучих лесах, в темных плоскогорьях, мощных реках, омываемый тремя океанами, и было радостно думать, что все-таки когда-нибудь он полетит над всей этой огромной землей.

Степан Иванович одобрительно кивал седобородой большой головой.

— Так, так, отлично... Ну, покажи главнейшие реки Азии.

Алешка, четко водя указкой, перечислял:

— Река Лена с притоками Вилой и Алдан... Пограничная река Амур с главным притоком... — он на минутку остановился, припоминая нерусское звучное название.

— Сунгари, — громко шепнул Пашка.

Алешка замолчал. Он не хотел отвечать по подсказке.

— Ну? Забыл? Сунгари. Ну, дальше.

— Река...

— Ян-Чу-Джань, — опять прошипел Пашка.

Алешка снова замолчал, только метнул на Пашку глазами.

— Ян-Чу-Джань, Ян-Чу-Джань, — шипел Пашка, а ребята волновались, почему Воронов вдруг сбился.

— Ну, что ж ты запинаться стал? Ян-Чу-Джань... обведи.

— Я знаю ее, — угрюмо сказал Алешка и только открыл

рот, чтоб назвать вторую китайскую реку, как Пашка, решив, что Воронов не знает рек, уже шипел, невинно глядя из-за переплета прямо в глаза учителю:

— Река Хуанхе, впадает в Желтое море.

Алешка почувствовал, что от досады он уже не сможет произнести ни одного слова. Степан Иванович подбадривал его. Пашка шипел, ребята ерзали, а Алешка стоял столбом и только всё угрюмей сдвигал свои тонкие черные брови.

— Ну, садись, Воронов, — печально сказал Степан Иванович и помял в кулаке бороду, — начал на „отлично“, а кончил на „плохо“. Посредственно, Воронов, а жаль — поленился все выучить.

Воронов, сжав зубы, пошел за парту.

— Воронов, — огорченно закричала Роза Цаплина, как только прозвенел звонок, — чего ж ты, чудак, Пашку не слушал? Он по книжке. Он верно.

— Я сам все отлично знал, — ответил Воронов громко, — я по подсказке нарочно отвечать не буду. Стрельников! Ты слышишь? Брось это! Я сам за себя отвечать хочу.

Ребята смущенно переглянулись.

— Ну и зря ты это, зря, — затрещала Роза, — ничего тут обыкновенного нет. — Она часто употребляла некоторые слова не так, как нужно.

— Знал бы, так ответил, — процедил Пашка сквозь зубы.

— Я знал! — закричал Алешка. — А ты вот попробуй, подскажи мне еще раз, увидишь, что будет.

— Да я наплевал на тебя, раз ты зазнавала такой! — закричал в свою очередь Пашка. — Подумаешь, герой.

Это слово точно ударило Алешку. Ему показалось, что Пашка намекает на то, что Алешка не стал героем-летчиком, что Пашка знает Алешкину мечту и смеется над ней... Алешка рванулся к Стрельникову, но звонок прозвенел, и Нина Петровна вошла в класс...

Она тоже сегодня спрашивала, а спрашивала она строго и все подсказки слышала. „У Нины Петровны очки, потому она все слышит“, жаловалась Роза Цаплина. И Алешку опять вызвали.

— Ну, Воронов, — сказала учительница, ободрительно улыбаясь, — исправляй отметку за письменную — отвечай...

С волнением вышел Алешка к доске, однако задача показалась ему не очень страшной; в этих правилах он уже немножко разбирался.

Стараясь не выдать волненья, Алешка начал решать задачу, и хотя с трудом и медленно, но верно, как казалось ему, сделал первые два вопроса. А дальше дело почему-то остановилось. Алешка составил пропорцию, стер, задумался, невольно оглянулся на класс — ребята опять ерзали на местах. Стрельников, очевидно, уже решив задачу, открывал и закрывал рот, как рыба без воды. Увидев, что Алешка взглянул на него, он презрительно сощурился и закрыл рот.

— Подумай-ка, Воронов, — значительно произнесла Нина Петровна, — подумай. Задачка простенькая.

Алешка глядел на доску, бормоча про себя:

— Если высота обратно-пропорциональна длине, то... — начал снова писать пропорцию, холodeя от страха, и вдруг услышал, как Пашка, не выдержав, очень тихо, но как будто в самое его ухо прошептал так, что ни преподаватель, ни ребята не услышали:

— Прямо... Прямо...

Алешка взглянул на свою пропорцию, — верно, у него было обратно-пропорционально, а надо прямо... И вдруг вся задача, весь ход решения от этой одной подсказки стал ему ясен. Он уже стремительно поднес мел к доске, но тут же, вспомнив перемену, опустил руку.

— Ну, Воронов, что же дальше? Ты подумай, как надо, — говорила Нина Петровна, почти подсказывая и морщась, словно от боли. А Алешка, зная теперь все, стоял неподвижно, нестерпимо стыдясь и краснея, уже глядя не на доску, а на носки своих красноармейских сапог.

— Ничего не знаешь, Воронов, дай дневник, — с отчаянием сказала Нина Петровна и записала ему в дневник „плохо“.

Что-то вроде легкого стона прошло по классу; Алешка не мог ни на кого взглянуть.

— Воронов, — прибавила Нина Петровна, — ты должен ходить на дополнительные, как все отстающие.

Сразу же после звонка Алешка подошел к группе ребят, где Пашка что-то развязно рассказывал. „Про меня“, мелькнуло у Алешки.

— Стрельников, ты зачем мне опять на арифметике подсказывал? Я ж тебя предупредил, я ж просил тебя.

Алешка начал задыхаться от обиды и горя.

Пашка торжествующе прищурился и, заложив руки в карманы, качнулся перед ним, невысокий и щуплый на вид.

— Скажи, что ты и это знал. А ну, скажи, что знал.

Алешка не нашелся сразу, что ответить.

— Так что ж ты фасонишь? — торжествующе крикнул Пашка. — Чего ты, говорю, героя корчишь?

— Ты... ты не смей мне про героя! — задыхаясь, крикнул Алешка. — Ты посмей еще только раз про героя...

Вместо ответа Пашка ударил Алешку в грудь — так неожиданно и резко, что Алешка качнулся, потом рванулся к Пашке. Ребята замерли. Но Алешка вдруг сжал кулаки и вытянул руки по швам.

— На мне форма, — сказал он, как будто бы для одного себя.

— Форма, форма, — взвизгнул Пашка, — лезет в глаза своей формой...

— На мне форма, — повторил Алешка, — я ее соблюдать должен. Я с гражданскими драться, форму позорить не имею права. Я сам за себя должен отвечать. А ты к форме уваженья не имеешь... Ты ее позоришь. Ты... ты... белогвардеец после этого, вот кто.

Пашка покраснел, потом побледнел, разинул рот, и вдруг из выпуклых глаз его, как из лейки, брызнули слезы, и его всегда самоуверенное, презрительное лицо жалко исказилось, стало каким-то стареньким.

— Ты таким словом не смеешь... У меня отец красногвардейцем был! — крикнул он сквозь слезы. — Я тебе помочь хотел... А ты не смеешь меня бело...

Он захлебнулся слезами и побежал в уборную.

Тяжело было на душе у Алешки весь этот вечер. На дополнительные он не пошел и то злился на себя, зачем не послушался Пашкиной подсказки, то обещал все-таки побить Стрель-

ников, то вспоминал его щуплую фигурку и искаженное от обиды лицо и снова мучился от стыда и злобы.

— Ох, зря, ох, зря я так выругался. Ведь он, верно, помочь хотел... Да, а зачем он насчет героя? Гад... Не его дело. Герой. Верно, что герой — плохие отметки получать. „Без арифметики летчика не получится“, начальник тогда говорил.

Алешка уткнулся лицом в подушку.

— Эх, не вышло, не вышло ничего. Скучно-то как. Уехать, что ли? Поскитаться по свету, как Сенька Пальчик? Эх, Сенька Пальчик, где-то он теперь? Поди, в море моется. А море-то синее-синее, в руку его зачерпнешь, оно и в руке синее...

Алешка вспоминал Сеньку с его оттопыренными ушами, Сеньку, внезапно появившегося у вагонов, Сеньку, с которым он рвался к Ленинграду, к месту своей мечты, — и так захотелось Алешке увидеть Сеньку. „Сенька веселый был... приятельский“, думал Алешка и так жалко почему-то стало себя, таким он себе противным сегодня в школе показался и таким замечательным, пока сюда ехал, что слезы, словно соль, выступили у него на глазах. Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, страстно тоскуя.

— Алешка, — вдруг пробасил над его ухом Мишка, — ты чего валяешься? Живот болит?

Алешка поднялся с подушки; в казарме был полумрак, где-то играло радио, и все казалось печальным.

— Живот болит? — со страхом переспросил Мишка, точно его самого сейчас должно было схватить, и протянул Алешке на половину обгрызенную толстую соевую конфетку. — На, съешь... Это от живота помогает...

— Нет... Голова болит... — неохотно соврал Алешка.

— Ешь, все равно. Она и от головы помогает...

И Мишка сунул Алешке конфету чуть не в самые губы. Алешка с отвращением откинулся назад.

— Да нет, понимаешь, не то что сама голова, а вроде как в ухо стреляет, — врал он, пытаясь избавиться от Мишкиной конфеты.

— В ухо стреляет? О-о! А как? Как из пушки или как из винтовки?

Алешка задумался.

— Как из пулемета, понимаешь.

— Как из пулемета? О-о! Ну, ешь тогда... Если как из

пулемета, то она помогает... Мне как начнет в уши стрелять, как начнет — я всегда соевые батоны ем, — сразу проходит...

Тяжело вздохнув, Алешка съел конфету; она оказалась довольно вкусной, несмотря на то, что была обсосана.

— Прошло? — с тревогой спросил Миша.

— Что? Ах, ухо-то... Проходит.

— Теперь уж только как из винтовки, да?

— Уж только как из нагана.

— Вот видишь! — вскричал Мишка и вдруг, сообразив что-то, добавил: — Знаешь, если я на барабане играть не научусь, я военным доктором буду...

И он сделал очень серьезные глаза; но сегодня болтовня Мишки только раздражала Алешку. Хотелось поговорить — не о себе, о чем-нибудь другом — с серьезным человеком. Тоска забирала все сильнее.

— Где Вася? — спросил он Мишку.

— В третьей аудитории сидит, рисует что-то. Ты к нему? Ну, иди... А я на кухню пойду, меня дневальный зачем-то просил зайти. Уж надо зайти... придется...

Алешка вяло потащился по коридору, с завистью послушал, как в ленинском уголке смеялись над чем-то бойцы, тихо вошел в третью аудиторию. Васька сидел за крайним столом и старательно чертил что-то, его остренькое лицо разгорелось, кончик языка был высунут, — Васька уверял, что язык ему помогает писать и рисовать. Когда Алешка подошел к товарищу, тот стыдливо прикрыл рукой чертеж и сказал:

— Это пока военная тайна, Алешка, уж ты не сердись...

— Ладно, ты черти, я не смотрю... Я все равно знаю, — по радио что-нибудь изобретаешь? Да? Ты не говори, не говори... Да?

Васька молча кивнул головой, заглянул под ладонь и счастливо улыбнулся.

— Ладно, черти, я не буду мешать, — грустно сказал Алешка и неожиданно для себя добавил: — А я сегодня „плохо“ по арифметике получил... уж второе... в четверти наверное „плохо“ будет.

— Ой! — воскликнул Васька, с жалостью поглядел на Алешку и нечаянно отдернул руку от чертежа. Алешка успел прочитать: „Проект радиотелеуловителя“...

— Алешка! А товарищу Егорову сказал?

— Нет... Чего я ему буду говорить, послезавтра дневник будет проверять — сам увидит... А, может, пропустит эту шестидневку.

— Нет, Алешка, ты скажи, — умоляюще повторил Васька, а сам опять заглянул под ладонь на чертеж. — Ты скажи... Он — такой, он придумает, как помочь...

Алешка уже досадовал, что начал этот разговор: „Вот и Васька жалеет... и все жалеют, точно я какой больной... Ну, конечно, — удачи у них. Ваське чертеж интересен, а не я... и правильно. А я по арифметике приземлился...“

— Ну, ладно, ты черти... Ты интересное придумал. А я пойду, — сказал Алешка.

Он чувствовал себя очень одиноким; опять вспомнился ему колхоз Заручевье, поляна, путь, Сенька... „Что ж не едет он, Сенька-то? А я и сфинкса не нашел, тоже забыл... Ох, плохо все, плохо...“

В этот день, под выходной, сыгровки не было, но Алешка тихонько прошел в оркестровую и вынул из футляра свою флейту. „Как это Дмитрий Иванович играл — то, на заре?“ вспоминал Алешка и, поднеся флейту к губам, припомнил — точно внутри что-то пропело — первый, долгий и чистый звук пастушьего рожка... „Это фа, должно быть“. Он дохнул, взял фа — верно. Тот же звук, но еще чище... А следующий? Алешка прислушивался к своему воспоминанию. Ля. Он взял ля — верно, получалось. Так, прислушиваясь к невидимому рожку, медленно, с поправками, а потом уверенней сыграл он протяжную, унылую и радостную мелодию, ту особую мелодию старого пастуха, которой много лет начиналось утро лесной деревни. И когда-то давным-давно, до революции, и в годы гражданской войны, и теперь — в мирном, богатеющем колхозе.

Алешка глубоко вздохнул, улыбнулся сам себе, а в сердце все появлялись новые звуки: вот это рожок проиграл, а вот жаворонок поет — с дрожью, с замиранием... Похоже, ведь похоже!.. И лес гудит, и из-за речки слышится песня... а теперь все как бы вместе играет, и вот вдруг самолет летит... Он на басах летит, жужжит, громко, гордо, но рядом и тоненькая, высокая нотка тянется, — потому что самолет высоко... А потом затих вдали, уже не поймешь, — может быть, это даже пчела

в цветке. И уж вечер наступает — опять та же пастушья мелодия, только потише, потому что все за день наработалось, все затихает...

Дверь негромко хлопнула, Алешка отнял флейту от губ; в оркестровую вошел товарищ Егоров. Тоненький и невысокий, он легко касался ногами пола, шел, точно сейчас затанцует, и, глядя на него, трудно было представить, что этот человек храбро и беспощадно бился с басмачами и целую ночь лежал в колючках, терпя страшную муку, когда на спине у него кровоточила пятиугольная звезда...

И голос у него был твердый и легкий, и глаза твердые и светлые; Алешка всегда светел, когда его видел, и сейчас доверчиво улыбнулся и подумал опять: „Что бы братом моим он оказался“.

— Что разучиваешь, Алеша? — спросил Егоров.

Алешка смутился немного.

— Я так... Это я сам от себя сочинял, товарищ начальник.

— А ну, сыграй, — сказал Егоров и встал, немного расставив ноги и склонив голову набок, весь — слух и внимание. Алешка играл, волнуясь и путаясь. Егоров слушал, слегка дирижируя бровями.

— Хорошо, — сказал он, дослушав, и помолчал. — Задушевно.

Это было любимое слово Егорова и этим словом он выражал самые разные свои, но всегда самые хорошие оценки и чувства.

— Очень задушевно, — повторил он и, внимательно взглянув Алексею в глаза, негромко прибавил: — Это ты, Алеша, я так понимаю, родину вспомнил, колхоз свой.

— Да, — прошептал Алешка, боясь, что заплачет от грусти и благодарности к Егорову, — Заручевье...

— Это славно, Алеша, родное место в песне вспомнить... или боевое, оно ведь все равно, что родное, кровное... Это славно, это я тоже люблю.

И, устремив светлые глаза куда-то мимо Алешки, Егоров негромко пропел своим высоким и твердым голосом:

Ой, сорву, сорву да с дуба ветку,
Пущу вдоль по Дону...
Ой, плыви, плыви да ты, моя ветка,
Ко штабу родному...

Он оборвал песню, улыбнулся, вздохнул...

— Хорошая песня... А у тебя, Алеша, кое-что резковато, но ты ведь еще работать будешь?.. Вот у тебя там, после дудочки-то, ля-си...

Егоров тихонько спел.

— А ну-ка, попробуй си-бемоль... Ведь нежнее выйдет?..

Алешка попробовал, — верно, получилось гораздо лучше, нежнее.

— Я тебе записать помогу, чтоб не забылось... Ну, а теперь спрячь, Алеша, инструмент, да скажи-ка мне, как это ты по арифметике „плохо“ заработал? И что ж ты мне об этих трудностях сразу не доложил?

„Васька сказал“, сообразил Алешка, и сердце у него замерло. Но товарищ Егоров смотрел ласково и твердо, как будто бы все еще говорил о песне, и Алешка почувствовал, что может сказать сейчас Егорову все...

— Товарищ Егоров, — горячо проговорил он, — я вас обманывать не хотел... Я все думал, что сам догоню. Отстал я очень... Я догону, товарищ Егоров, я сам все пойму. А вы не думайте...

— Да что ты, Алеша, — спокойно перебил Егоров, — что ты — о двух головах, чтоб самому себе непонятное объяснять? Сам, сам... Товарищи-то, которые сильнее тебя, отказались помогать тебе, что ли?

— Я не обращался к ним. Мне стыдно было показывать, что я слабее их...

— У товарищей помочи просить стыдно! — негромко воскликнул Егоров. — Что ты, Алеша! Боец ли ты — с такими настроениями? Что же ты — старую красноармейскую пословицу забыл: „Один в поле не воин“? А что же они — смеются над тобой, что ли?..

— Нет, — с горем ответил Алешка, — только один товарищ — Червонец... девочка, маленькая такая, рыжая... А другой... а другого я белогвардейцем сегодня обозвал...

Товарищ Егоров твердо и серьезно, сосредоточенно смотрел на Алешку.

— Ну-ка, Алеша, — сказал он, подумав, — пойдем-ка в уголок, вон за контрабас, потолкуем... Давай, знаешь, задушевно, задушевно потолкуем...

Через день Алеша пришел в школу как будто в первый раз. Он заметил, что ребята поглядывали на него с некоторым смущением; это было неприятно Алешке, но не сбило его новой решимости. Он заметил также, что Пашка Стрельников казался еще шуплее на вид, чем всегда, и то задирал Розу Цаплину, то как-то хохлился и, поглядывая на Алешку, отворачивался с неприязнью...

„Скорее бы урок кончался“, думал Алешка и, как только кончился урок, подошел к Пашкиной парте; ребята на минуту задержались, наблюдая за ними с интересом и недоверием.

— Стрельников Паша, — громко сказал Алешка, и ему было легко и не стыдно говорить, — я тебя вчера... „тем“ обозвал... Я извиняюсь, Паша, я невыдержанно „это“ крикнул, что будто ты „то“...

Пашка засопел, готовый снова заплакать...

— Я извиняюсь, Паша, — повторил Алешка. — Хочешь, в стенгазету сам про себя напишу?.. И подпишусь.

Пашка хотел крикнуть Алеше что-нибудь злобное, взглянул на него с ненавистью, но Алешка стоял такой прямой, аккуратный, в форме любимой Красной армии, и темные его, немного сумрачные глаза глядели на Пашку так ясно, что Пашке стало почему-то за все позавчерашнее стыдно, и он пробормотал:

— Ладно, катись... не надо в стенгазету... я сам тебя двинул... Катись, чего стоишь?..

Но Алешка, просительно оглянувшись на ребят, сел рядом с Пашкой, а ребята, поняв, что мальчикам нужно остаться одним, вышли из класса.

— Вот видишь ты какой, — неопределенно сказал Валька-Репродуктор. — Я же рассказывал, что он ничего не боится.

— А ты вот только разнеси это по школе! — крикнула Роза Цаплина. — Вот это, что вчера и сейчас было... только попробуй... Все лампочки у тебя за это вывернем...

А Алешка все так же доверчиво смотрел на Стрельникова и говорил:

— Стрельников Паша, я тебя прошу от себя и от моего начальника товарища Егорова — помоги мне по арифметике догнать... Как самого сильного в классе прошу.

На лице у Пашки сверкнула гордая улыбка, но он тотчас же постарался напустить на себя равнодушие.

— Ладно, я могу... — помолчав, ответил он с небрежностью. — После уроков, сегодня, можно... Сегодня я свободен, кажется...

И после уроков в классе, еще не остывшем от дыхания ребят, Алешка сел на первую парту и, раскрыв тетрадь, покорно взглянул на Стрельникова. Тот, маленький и щуплый, заложив руки в карманы, покачивался перед Алешкой, все еще стараясь напустить на себя равнодушный, снисходительный вид. Но Алешке даже нравилось подчиняться Стрельникову и не обращать внимания на его позы.

— Ну, что ж, ты составление пропорций не понимаешь? — спросил Пашка, намекая на плохой Алешкин ответ.

— Да я даже, что такое обратно и прямо — с трудом понимаю, — доверчиво улыбнулся Алешка.

— Ну, это-то вовсе простое! — воскликнул Пашка, и ему стало приятно, что сам он так много знает. Он даже подобрел к Алексею. — Ну, давай вот этот пример решим. Пиши...

Алешка так старательно, красиво писал, так послушно исправлял ошибки, так внимательно слушал Пашку и так быстро все понимал, что Пашка, думая: „а головастый чорт, крепко соображает“, все больше возвышался в своих глазах и все больше добрел к Алешке, хотя все еще топорщился и пыжился.

— А ты в шахматы любишь играть? — спросил он, когда они кончили заниматься.

— Очень люблю! — воскликнул Алешка. — Только не умею... А когда бойцы наши играют, я часто гляжу. Непонятно, а интересно.

— Верно, — обрадованно подтвердил Пашка, — мне вот тоже, что непонятно, то и интересно... А как пойму, так уж что-нибудь другое непонятное интересно. Я тебя научу в шахматы играть. У меня уж свои этюды есть. А рокироватьсь ты любишь?

— Нет, — ответил Алешка, — не люблю..., Я ведь не знаю, что это такое...

— Я тоже рокироваться не люблю, все-таки вроде как ход теряешь... Я научу тебя, Воронов, ты не сомневайся...

Мальчики поглядели друг на друга очень дружелюбно, но Пашка, спохватившись, что для первого раза слишком дружески

разговаривает, опять заложил руки в карманы и напустил на лицо снисходительность.

— Так ты, Воронов, те задачи, что я тебе задал, сделай обязательно. А то опять сядешь...

— Есть сделать, товарищ Стрельников, — ответил Алешка. И ему снова стало приятно, что он, высокий и сильный, подчиняется маленькому Стрельникову, как сознательный молодой боец — опытному командиру.

6

Бодрый и веселый шел Алешка из школы. Уже вечерело, бледные городские огни переливались и дрожали, воздух от легкого морозца был каким-то шипучим и ломким.

Алешка решил побродить один, он пошел влево по набережной, любясь на вечер, немного поеживаясь от вида тяжелой и холодной невской воды.

„Ничего, — думал он, — теперь справлюсь... А Пашка только с виду фасонит... Ну да пусть его. Теперь, раз с арифметикой справлюсь, все исполнится. Летчик математику должен знать... Все, все исполнится“, упрямо и уверенно повторил про себя Алексей Воронов и даже остановился от охватившей его радости и смело оглянулся кругом. Какие-то странные каменные звери, неясные в полутьме, возвышались на берегу, над водой, возле Алешки.

— Здравствуйте, товарищ Воронов! — неожиданно раздался хриповатый голос, и маленькая фигурка остановилась перед Алешкой, точно выросла из-под земли.

Алешка опустил глаза: перед ним, в распластанной кепочке, в затасканной кофте, стоял Сенька Пальчик, все так же похожий на летучего мышонка.

— Не узнаете меня, товарищ командир? — робко спросил Сенька, улыбнулся и зачем-то неумело козырнул, задев рукой за собственное ухо. — А я сюда который раз прихожу... К сфинксам, как сговаривались... Все вас ожидаю...

— Сенька! — крикнул Алексей в дикой радости. — Сенька, друг! Ой, ты не сердись на меня, что я раньше не приходил!.. Ну, пойдем скорей, Сенька, пойдем к нам, это близко, тут... Я ждал тебя, друг ты!

Он схватил Сеньку за рукав и потащил за собой, быстро и громко крича от волнения все, что приходило в голову...

— Сейчас тебя под душ отправят, Сенька... Ты не бойся, проси погорячей. А мы все в одной школе учимся, и ты там будешь учиться... А белье тебе, наверное, с бойца дадут... А может — с Мишки... он хотя маленький, да здоровый, толстый... Ничего, на тебя влезет. Ты не сердись на меня, Сенька... Я помнил... Я пришел бы сюда...

Сенька едва поспевал за рослым, статным товарищем и, хихикая, улыбаясь, разглядывал его на ходу...

— А не попрут меня от вас, товарищ Воронов?

— Да что ты меня называешь-то как, точно я тебе чужой какой? От нас попрут?! Да наши танкисты всё, что хочешь, ребятам сделают!

— Танкисты? Так ты танкистом, Алешка, заделался? Что ж, самолет уж отставил? Да?

Сенька сказал это таким тоном, точно хотел прибавить: „ничего, я одобряю“.

Но Алешка круто остановился, остановил Сеньку, и легкая тень прошла по его лицу, сдвинула прямые тонкие брови.

— Сенька, — сказал он торжественно и глуховато, — Сенька, ты не говори так... Я помню, что я тебе сказал... про это только еще ты, наверное, помнишь... Так ты и не забывай... И ты здесь, вот прямо здесь скажи, веришь ты или нет, что я героем-летчиком стану?

В голосе Алешки послышалась даже угроза, но Сенька только удивился и растопырил пальцы.

— Ты что спрашиваешь-то, как псих?.. Да я еще раньше, чем ты сказал, знал, что ты героем будешь... Как увидел тебя, сразу подумал: ну, это не кто, как летчик.

Сенька был убежден, что говорит правду: он уже давно думал, что так и было.

— А если, Сенька, — все еще торжественно говорил Алешка, — если почему-нибудь не сбудется это, так ты тоже никому не говори. Слышишь?.. Если у человека задуманное не исполнится, об этом никто, кроме него, не должен знать... Но это я так, для тебя говорю... Я-то знаю, что все исполнится. Я уж догадался... У нас уж так устроено, что если очень хочешь чего-нибудь, только очень, Сенька, очень, то всего добьешься.



Дни шли теперь все быстрее и напряженнее, жить Алешке становилось все интереснее. И как будто бы не одна, а целых три жизни было у Алешки, хотя все они прекрасно сливались в одну.

Школа с уроками, с культиваторами, с книгами — это была одна жизнь. Она требовала много сил и труда и давала много радости и смысла. Алешка не просто учился, а переживал все, что учил. Он изучал страны света и над всеми пространствами намечал свои полеты. Он учил историю и воображал себя участником всех героических событий: то помощником Пугачева, то соратником Петра в Полтавской битве, то декабристом на Сенатской площади. Алешка всей душой переживал трагическую судьбу Лермонтова, своего любимого поэта, и жалел, что не был его другом. О, он сумел бы уберечь Лермонтова от пули проклятого офицера Мартынова! Как бы дружили они с Лермонтовым. Как бы носились на горячих и чутких конях по горам Кавказа. Алешке казалось даже, что он немножко похож на Лермонтова, что стихотворение „Парус“ написано как бы и про него...

Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном? —

твердил Алексей, вспоминая свой лесной, далекий край, и внезапное сознание одиночества охватывало его.

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!.. —

воскликнул Алешка и выпрямлялся, сдвигал брови, видя себя среди грозных туч на ревущем самолете.

А он, мятежный, просит бури...

Особенно много сил отнимала у Алешки арифметика. Но теперь Алешка сам просил, чтоб Стрельников задавал ему задачи потруднее; он уже составлял собственные задачи — и все только про самолет, про авиацию. Задачи были похожи на коротенькие рассказы, полные геройских событий. Пашка даже удивлялся:

— Что это ты все на пропорции в поднебесье паришь-то?

— Так, — уклончиво отвечал Алешка, — нравится.

Он не выдал Пашке своей тайны. Дружба у мальчиков была

странной: они все время молча состязались друг с другом, радовались, побеждая один другого.

Правда, Пашка уже стал подражать Алексею в его военной выпарке и аккуратности, но если б Стрельникову на это намекнули, он страшно обиделся бы.

Школа танкистов с веселыми и подтянутыми курсантами, с уютными вечерами в ленинском уголке, где командиры-старослужащие рассказывали о минувших походах, со службой сигнала по выходным — была второй Алешиной жизнью.

А третья жизнь — это были мечты о самолете, мечты о подвигах и геройстве, и иногда замиравшая, иногда просыпавшаяся с новой силой мечта о встрече с братом-красноармейцем, пропавшим без вести... Об этой жизни Алексей никому не говорил, о ней знала только его флейта. Но это была самая главная жизнь, и в ней соединялось все, чем жил Алешка.

Правда, музыкой теперь Алешке приходилось заниматься немного: товарищ Егоров освобождал его от занятий, хотя Алешка не просил его и даже досадовал на это.

— Ничего, Алеша, — говорил Егоров твердо и ласково, — ты не горюй, что в Октябрьские дни играть еще не будешь. Вот справишься с учебой, на первомайский парад играть тебя назначу. Будешь „Интернационал“ играть, когда бойцы красную присягу дадут...

Алешка вздрогнул от радости.

— У меня все на „отлично“ будет, товарищ Егоров, увидите...

— Ты только смотри, ты все через край хватать любишь... Вон и в учебе, вижу, уже через край берешь, — прибавил Егоров. — Ты не изнуряйся, Алеша, ты помни: боец себя беречь должен, он не себе — отечеству принадлежит. Смотри, на первомайском параде будь красавец-красавцем... задушевным парнем.

— Есть быть красавцем, товарищ начальник, — улыбнулся Алешка.

Он с нетерпением стал ждать майского парада. Он, Сенька, Васька и Мишка уже сговорились, что будут вместе с бойцами произносить красную присягу. А после этого считать себя уже совсем настоящими красноармейцами.

Алешке очень хотелось рассказать об этом ребятам в классе, но он решил пообождать до ответа по арифметике.

Он не боялся отвечать, но все же, когда его вызвала Нина

Петровна, сердце Алешки немного ёкнуло. Однако он не подал виду и прямо, легко вышел к доске. Ребята следили за ним с волнением, некоторые даже отложили свои тетради. Алексей отвечал не торопясь и объяснял все, что делал. А Пашка Стрельников ерзал на своей первой парте — задача была трудная — и, чтобы не подсказывать, ел промокашку. Была минута, когда Алешка не запнулся — задумался, и Пашка чуть не выкрикнул подсказки, но, к счастью, подавился промокашкой и только как бы квакнул. А Алешка, после минутного раздумья, отвечал еще уверенней и четче. Когда он кончил и красиво вывел результат, Пашка почувствовал, что во рту у него горько от фиолетовых чернил и грязной бумаги, а лоб весь вспотел.

— Отлично, — сказала Нина Петровна, радуясь больше Алешки, — ну просто отлично, Воронов. Ты математически мыслишь, вот что меня радует.

— Слушайте, слушайте, слушайте, — прошептал Валька-Репродуктор, обернувшись к классу.

— Это не я, — ответил Алешка, аккуратно вытирая руки.

— Как не ты?

— Это Стрельников Паша меня учил, я только с ним все понял.

— Уж не фасонь, тоже! — выкрикнул Пашка плачущим голосом.

— Слушайте, слушайте, слушайте, — еще раз прошептал Валька, а Роза Цаплина сердито прошипела:

— Без тебя слышим, не немые.

Пашка почему-то целый день избегал Алешки, вел себя очень независимо, дажезывающие, и Алешка поймал Пашку только на другой день, перед уроками, когда ребята еще бегали по коридору.

— Пашка, — сказал он, — ведь мы заниматься еще будем с тобой, верно? Но я тебе хочу сказать спасибо — от себя и от товарища Егорова — за помощь Красной армии. Товарищ Егоров сказал, что тебе и твоему папаше-красногвардейцу билет на трибуну достанет на первомайский парад...

Пашка, покраснев, взглянул на Алешку, потом дико прыгнул — прямо и вбок.

— Ход конем! — крикнул он и дико проскакал ходом коня весь коридор туда и обратно.

Часть третья

1

Прошел первомайский парад, торжественный и величественный, и Алешка вместе со своими друзьями-воспитанниками, вместе с многотысячными рядами красноармейцев произнес на параде красную присягу. Он с этого дня весь был охвачен вдохновением, как легким и радостным огнем. Каждое дело, которое он выполнял, казалось ему по-новому важным и ответственным: к тому обязывала красная присяга. Алешка похудел и побледнел, его темные глаза стали еще больше, но первомайское вдохновение не покидало его до самого конца испытаний. Он готовился к испытаниям так, чтобы отлично ответить по любому вопросу. Он очень волновался после годовой диктовки, потому что забыл, поставил или нет черточку в слове „из-за“, но и черточка оказалась на своем месте. Все годовые отметки у Алеши были отличные. Товарищ Егоров обнял Алешку и поцеловал прямо в губы; бойцы поздравляли; Васька пригласил Алешку участвовать в разработке проекта телевидителя, потому что не мог справиться с некоторыми математическими расчетами,—разумеется, предупредив, что все это—строгая военная тайна; Мишка подарил Алешке свежий зеленый огурец; Сенька, пополнивший на курсантских хлебах, отчего уши его сделались меньше, твердил, что он первый определил, какой парень Алешка.

Вечером Алешку вызвал к себе начальник школы. Он сидел за своим столом у лампы с зеленым абажуром и так же, как осенью, кабинет его казался наполненным прозрачной селено-

затой водой, а со стен ласково и строго смотрели портреты Сталина, Ворошилова, Ленина...

Алешка прямо, как струнка, стоял перед начальником.

Виски командира немножко поседели за зиму. У глаз его расположились морщинки (много неизвестных еще Алешке забот было у командира), но он был все такой же толстый, говорил с тем же певучим украинским акцентом и почему-то еще больше стал похож на Тараса Бульбу.

Начальник встал и протянул Алешке толстую сильную руку. Он глядел на мальчика серьезно и внимательно.

— Поздравляю вас, товарищ Воронов, с отличными успехами в учебе, — сказал начальник школы, — объявляю вам благодарность в особом приказе по школе танкистов. Завтра с утра будет вывешен приказ.

Алексей вспыхнул. Гордость и радость охватили его; ему хотелось ответить на награду какими-то очень серьезными и радостными словами. И сердце тотчас же подсказало эти дорогие, нужные слова, знакомые, сотни раз произнесенные другими и — первый раз в жизни — Алешкой.

— Служим трудовому народу, товарищ начальник!

Начальник еще внимательнее посмотрел на Алешку. Потом снова сел за стол, помолчал, вздохнул и вдруг пригорюнился, опершись щекой на ладонь; лишь глаза его лукаво блеснули.

— Да, Алеша, — уныло сказал он, — вот прекрасный ты парень, отличник учебы, музыкант, а танкистом тебе все-таки не быть. Не быть...

Алешка испуганно вскинул глаза на начальника.

— Да, не быть тебе, Алеша, танкистом, — уныло тянул тот. — Придется тебе с нами этак через годик проститься. Совсем.

Алешка пугался все больше, ничего не понимая.

— Да, — тянул начальник, вздыхая, — расстанемся с тобой... — И вдруг, хлопнув ладонью, весело крикнул: — В летнюю школу тебя передадим, Алеша! Там ты уж будешь образование кончать и на летчика учиться... Ну, что ж ты молчишь? Мы ведь помним, чего тебе хотелось. Согласен на летчика учиться? А?

И, задыхаясь, Алешка снова произнес драгоценные, полные гордости и счастья слова:

— Буду служить трудовому народу, товарищ начальник! Всю жизнь буду служить!

Только приехав в лагерь, Алешка понял, как сильно он устал за эту горячую, трудовую зиму. Танкисты разбивали палатки, готовили стрельбище, футбольное поле; пришли, пророкотав, как весенняя гроза, танки; Васька и Сенька помогали радиисту и, немного важничая перед Алешкой, ахали, как много работы.

— А ты отдыхай, — строго приказал Алексею товарищ Егоров. — Это твое боевое задание, понятно? Несколько дней без отдыха — отдыхать...

И первые три дня Алешка только и делал, что отдыхал. Он много спал, уходил один к чистому северному озеру, купался и долго лежал на спине, глядя в нежное весеннее небо и слушая лепет молодых осин. Иногда он брал флейту и играл свою песню, все требовательнее прислушиваясь к ней. Полету самолета он придал теперь сильное, мажорное форто, голос жаворонка сделал еще переливчатее.

По-новому хорошо и тихо было на душе у Алешки. Он радостно, серьезно обдумывал будущую свою жизнь и работу. Он знал, что осенью, когда ему стукнет пятнадцать лет, он вступит в комсомол. Товарищ Егоров, большевик, боец и запевала, даст ему рекомендацию. Он знал, что учиться будет только на „отлично“, что с математикой будет все еще трудно, но не боялся этого. Он знал, что совершил победоносный перелет из конца в конец родины, от Ленинграда до Владивостока, без посадки, с небывалой скоростью, с потолком под самыми звездами. „Я вылечу из Ленинграда с восходом солнца и к восходу солнца прилечу во Владивосток, — ведь солнце никогда не заходит над нашей землей“.

В день открытия лагеря Алешка с утра убежал к озеру. Сегодня он должен был выступать со своей песней на вечере самодеятельности. Алешка волновался: вдруг показалось, что песня плохая, что за время испытаний он все перезабыл, что гости и бойцы будут жалеть его и насмехаться над его заветной песней.

Алеша занялся повторением своей песни так, что не заметил, как прошло время, и вздрогнул, когда ребята — Сенька, Васька и Мишка — налетели на него, крича:

— Что ж ты, Алешка, провалился? На поле пора! Уж весь оркестр там! Нас ждут!

— Алешка, сколько гостей понаехало! — кричал Васька, пока они шли на поле. — Ударники, жены, сестры, старые большевики, начальники. У одного два ромба. Ей-богу, два.

Алешка едва слушал, еще думая о песне.

— И главный танкист приехал, — выпалил Мишка, — это я первый узнал. Я их всех встречал.

— Да, и знаменитый танкист приехал, — подхватил Сенька, — два ордена, говорят, имеет. На танке будет препятствия брать, говорят.

— Герой! — выкрикнул Васька возбужденно.

Алешка встрепенулся и зажегся, мгновенно забыв о песне: он никогда не видал еще ни работы танка, ни живого героя-орденоносца.

— Герой, говоришь? — жадно спросил он. — И на танке сам? А как фамилия?

— Герой, — блестя глазами, подтвердил Сенька. — Мишка, ты там под ногами вертесь, как зовут-то его?

— Я не под ногами вертесь, я гостей встречал, — суроно отбрил Мишка, — ты из зависти говоришь, потому что танкиста прозевал. А я...

— Да ладно, ты не лезь в пузырек. Как фамилия, знаешь?

Мишка победно взглянул на товарищей, чувствуя свое превосходство, но почему-то покраснел немного.

— Как фамилия?.. А... а... Журавлев фамилия. Ой, нет, сбился я, — Соколов. Да что я, спутался совсем. Орлов! Товарищ Орлов.

— А может быть просто Птицын, — не утерпев, съязвил Васька. — Ты слушал-то ухом, а не брюхом?

— Говорю тебе — Орлов. Что я не знаю, что ли? Я же сам его встречал. Здравствуйте, говорю, товарищ Орлов... Он и с виду такой — Орлов...

Алешка был как в тумане — от вестей о герое, от тревоги за вечер; но став на свое обычное место в оркестре, он сразу, по привычке, подтянулся, сосредоточился и взглянул на Егорова.

Тот, легкий и стремительный, взмахнул светлой головой, легко поднял руки, брови его взлетели кверху, потом повелительно сдвинулись, и оркестр грянул „Интернационал“.

Потом начальник школы говорил речь, говорили речи и другие, собравшиеся на маленькой трибуне, убранной елками и флагами, но ребята плохо слышали: вытягиваясь, они искали глазами орденоносца-танкиста то в толпе гостей и бойцов, то среди людей, заполнивших трибуну.

— Мишка, а ты его видишь? — шепотом спросил Алешка Мишку. (Мишка хотя и не играл, но считал своей обязанностью торчать в оркестре.)

— Вижу, — ответил Мишка важно.

— Где? На трибуне?

— Ага.

— Который?

— Вон тот, — неопределенно отвечал Мишка; он не желал признаваться, что из-за своего маленького роста вообще ничего не видит.

— Тот? Да что ты, этот же с бородой. Нет, это не он, это старый большевик, не иначе.

— Да его и нет тут, ребята, — догадался Васька. — Он у танка, наверное.

— А где танк?

— А вон-вон там, должно быть, у той опушки.

— А препятствия-то видите? Во какая гора бревен! А барьер-то! И вон ров, глубоченный! — восхищался Сенька.

Алешка впился глазами в далекую опушку и так напряженно разглядывал ее, потом препятствия, потом опять опушку, что почти ничего не слышал.

— ... покажет нам образцы танководительства! — вдруг донеслось до него с трибуны, и почти тотчас же голос говорившего был покрыт возникшим вдали грозным и торжественным рокотом. Этот рокот все приближался, все больше наполнял собою солнечный воздух. Алешка почувствовал, как легонько задрожала земля под его ногами, и увидел, что к полю от опушки быстро приближался могучий красавец-танк. Танк, тяжелый, серый, рокоча надвигался на огромный барьер из бревен. Казалось — он должен остановиться, как вкопанный, но нет — танкист вдруг легко и красиво взял барьер. Крик восторга раз-

дался на поле. А танк ревя громоздился уже на другое препятствие, словно вставал на дыбы, перевалил через него, легко шел по неровной поверхности, потом спокойно, словно ничего не замечая, перескочил через ров, развил бешеную скорость, на минуту скрылся из глаз, развернулся там, помчался обратно и, медленно затихая, остановился невдалеке от трибуны. Рукоплесканья и крики „ура“ раздались вокруг машины. Егоров дал знак играть марш. Алешка едва не упустил такта и, играя, не отрывал глаз от танка.

И вот из люка ловко выскочил плечистый, плотный, очень высокий человек в комбинезоне танкиста, в кожаном шлеме. Он, обернувшись лицом к гостям и бойцам, шел большими широкими шагами к трибуне, шел под ликование военного марша, под ясным сиянием солнца, высоко подняв тяжелую руку и сильно потрясая ею в воздухе. Он шел, огромный, сверкающий. Его загорелое лицо лоснилось, зубы блестели в большой, открытой улыбке, и темные, немного сумрачные глаза под тонкими бровями смеялись и радовались, и на груди, над сердцем, горели два ордена: Красной Звезды и Боевого Красного Знамени.

Орденоносец взошел на трибуну и под клики и музыку заговорил; голос у него был густой, мощный.

— И мы железной стеной встанем на защиту нашей родины и двиннемся на наших врагов, товарищи, и нас поведет лучший испытанный водитель нашей земли — Сталин! Сталин, товарищи, наш Сталин, и мы, как ураган, сметем всех, кто будет мешать нам на пути мировой революции...

Алешка был ошеломлен.

„Вот это — да, — думал он, и слов нехватало для выражения, — вот это — да... Нет, мне никогда не стать таким. О, если бы хоть немного быть на него похожим, хоть немножко. Вот это — да...“

Алешка не пошел смотреть на футбольный матч с командой артиллеристов и после обеда тревожно бродил по лагерю, в трепетной надежде еще раз увидеть товарища Орлова, и вспомнил о своем выступлении под самый вечер.

На открытом воздухе, перед эстрадой-раковиной, рассаживались гости, бойцы, шумя и смеясь, а за сценой, волнуясь, готовились выступающие.

Товарищ Егоров подошел к Алексею, на мгновение ласково обнял его за плечи.

— Ну? Ты что вроде как приуныл, Алеша? Волнуешься?

— Товарищ Егоров, как он танк-то вел... Я все думаю, опомниться не могу.

— О-о, брат, задушевно машину вел! — воскликнул Егоров и заглянул Алешке в глаза. — А ты уж загорелся, парень? Горючий ты материал. Смотри, не сгори у меня до срока.

— Товарищ Егоров, а, может, не выступать мне? Сомневаюсь я что-то.

— Но-но. Я вас, воспитанников, в конце выпускаю, коронными номерами, а ты — трусить? Не по-красноармейски, брат.

— Ты, Алешка, не бойся, — подхватил Сенька, — мне вот через номер танцевать итти, а я — видишь — ни капли не боюсь.

— Да и я не боюсь, — ответил Алеша и ласково взглянул на товарища.

— А за меня радио выступает, — прихвастнул Васька.

— А я к следующему разу особый номер придумаю, — много-значительно пробасил Миша.

— А я уж тебе его придумал, — перебил Васька. — Мишка Эн — человек с двумя желудками. Съедает, не сморгнув, тонну конфет и запивает бензолом. Главное, понимаешь, не сморгнув. А то еще — на бис, он же — человеко-барабан.

— Не дразни ты его, Вася, — улыбнулся Алешка. Ему хотелось обращаться с людьми так же ласково, как товарищ Егоров.

— Да я не дразню, я просто советую...

— Твой номер следующий, Алеша, — предупредил Егоров, и голова у Алешки закружилась от волнения. Он не видел даже, как плясал Сенька, смутно слышал, как весело хохотали зрители, как хлопали и кричали: „Яблочко! Яблочко!“

А конферансье объявил:

— Воспитанник Воронов, отличник учебы, сыграет на флейте песню своего собственного сочинения...

Того обтянув гимнастерку, махнув гребенкой по волосам, Алешка, не чуя ног, вышел на эстраду и огляделся. Он увидел знакомые лица курсантов, которые смотрели на него, улыбаясь и как будто любуясь; заметил начальника школы и, показалось, рядом с ним темные, ласковые глаза танкиста-орденоносца; увидел, что наступили нежные сумерки, а вдали, над темными

опушками, над учебным полем, задумчиво, как в Заручевье, светил узенький голубой рожок месяца. Сердце Алешки наполнилось горячей любовью к бойцам, к тихому воздуху, к колхозному месяцу; он поднес флейту к губам, и грустная, счастливая мелодия пастушьего рожка пролетела по лагерю.

Алексей играл легко и свободно, всей душой отдаваясь музыке, слушая только ее. Но когда кончил игру тою же родной мелодией и кругом восторженно захлопали, закричали „бис-бис“, а Мишка почему-то выкрикнул басом „ура“, Алешка смутился, чуть не заплакал и, едва поклонившись, убежал с эстрады. Вбежал Алешка в палатку и сразу бросился лицом в прохладную, сырватую подушку.

Ему очень хотелось побывать одному, но уже через четверть часа приятели тормошили его, наперерыв крича:

— Алешка, ты чего ж на бис не вышел?

— Вот чудак, чего смутился?

— Алешка, — басил Мишка, — идем чай пить, там артистам пирожные дают.

Алешка с удовольствием пил чай: за обедом он плохо ел и теперь чувствовал, что проголодался. Миша авторитетно рассуждал о преимуществах наполеона перед трубочкой.

— Наполеона можно на несколько пластов разобрать и потом каждый в отдельности есть, а трубочку надо всю сразу есть, без остановки...

— Кто ж тебя гонит без остановки? — не преминул подзудить Васька.

Озираясь по сторонам, в столовую вошел товарищ Егоров.

— Алеша, — сказал он, — а ведь я тебя ищу. Не очень ты устал? Знаешь, ведь тебя товарищ Воронов еще разок сыграть просит, он там на берегу с бойцами беседует...

Алешка не совсем понял Егорова.

— Товарищ Воронов? А это кто, товарищ Егоров?

— Как — кто? Да гость наш, танкист-орденоносец.

Ребята молча переглянулись и впервые увидели Мишку смущенным. Впрочем, он тотчас же, насколько мог, нырнул лицом в кружку с чаем.

— Та-ак, — зловеще прошипел Васька, — товарищ Орлов, говоришь? Имеешь нахальство утверждать, что Орлов?

— Я... я не нахальство... — глухо пробормотал Миша из



кружки. — Я не виноват, что сбылся... Я знал... Я сбылся потому, что как же: Алешка наш — Воронов, и вдруг тот тоже Воронов... Я и подумал, что тот — Орлов... Он и с виду — Орлов...

— Так, — шипел Васька, — что ж, по-твоему, однофамильцев не бывает? А сколько у нас в школе Ивановых?

— Так то — Ивановы, а то — Вороновы...

— Так... Ну, ладно, — грозил Васька, — наконец-то ты достался мне на съедение, человеко-барабан...

•

4

Танкист-орденоносец сидел на крутом берегу, на пеньке, окруженный молодыми бойцами. Они курили, посмеивались и говорили почему-то вполголоса, — наверно, потому, что очень тихо и красиво было над озером, и вечер был уже глубокий и мягкий, но по-северному не темный, а легкого зеленоватого цвета.

Подойдя, Алешка сразу различил мощную фигуру героя, а лицо его от сумерек, от мерцающего огонька папиросы казалось темным, словно литым и суровым.

— А! — негромко молвил танкист, заметив в группе подошедших ребят Алешку, — вот он, мой знаменитый тезка. Ну, замечательнейшую песню ты играл, товарищ Воронов. Самое сердце трогает... Не жалко — сыграй мне ее еще разок, а?

— Есть сыграть, товарищ Воронов, — прерывающимся голосом ответил Алешка, и охотно, еще мягче и чище, немного медленнее, чем обычно, запела под его дыханием флейта.

Бойцы слушали не шевелясь, и, точно застыв, сидел знатный танкист-краснознаменец, облокотясь локтями о сильные свои колени, опустив голову, огромный, весь темный в летних сумерках.

— Хорошо, — сказал он, вздыхая всей грудью, когда Алешка кончил. — Хорошо.

Бойцы из уважения к старшему товарищу молчали.

— Родину свою я вспомнил, когда услыхал тебя, — медленно сказал знатный танкист. — У меня на родине точно так же один старики-пастух по утрам играл...

Алешка уцепился руками за траву: любимая мечта пронеслась

в его сердце, но было страшно сейчас вспомнить ее... Бойцы молчали из уважения к воспоминаниям героя. Они чувствовали, что ему хочется и нужно рассказать о себе что-то свое, важное, быть может, никому не рассказанное до сих пор.

— Да, на родине моей так по утрам пастух играл, — повторил товарищ Воронов с глубокой любовью и грустью, — в деревне Заручевье, Нижегородской губернии, Горьковского края теперь.

Алешка все сильнее держался за траву.

Знатный танкист помолчал, затянулся папиросой, золотистые огоньки отразились в его темных глазах...

— Давно я там не был, более двенадцати лет, — продолжал он. — Услышал твою песню, и так сердце заныло по родимым местам... Отца моего, партизана, зарубили белые, а я, мальчишкой еще тогда был, в Красную армию пошел... И было это... да, было в двадцатом году... И кинула меня судьба-война на Дальний Восток, к самому синему морю... Ну, время тогда, знаете, какое было — пламенное время. Как поют — такое: „и останется, как в сказке“. Орден вот этот — Знамя — за те волочаевские дни получил, за раны, за беспощадность к врагам. Очнулся от боев, от болезней — на родину написал... На одно письмо получил от земляка ответ, известил, что мамаша моя умерла, дед больной лежит, умирает. Братишко у меня тогда только что народился, про того ничего земляк не написал. Я опять посылаю запрос — не отвечают... Быть может, и сам земляк оттуда ушел... Хочу вот сам съездить туда, на родину... Только, наверное, напрасно поеду... Не отвечали мне, — значит, не только мать, но и братишко мой давно помер...

— Нет, товарищ Воронов, — промолвил Алешка, встав во весь рост, — я жив остался.

... И встали они друг перед другом, один — дважды орденоносец, герой гражданской войны, бесстрашный водитель танков, другой — молодой питомец Красной армии, будущий летчик и герой, и поднялись на ноги, встали вокруг них бойцы-курсанты.

И знатный танкист протянул руку и тихо сказал:

— Здравствуй, младший брат.

И Алешка ответил:

— Здравствуй, старший брат.

*Для младшего и среднего
возраста*

Отв. редактор В. Заводчиков. Худож-
ственный редактор Вс. Лебедев. Техни-
ческий редактор Т. Васильева. Кор-
ректора М. Беляева и М. Левицкий.
Книга сдана в набор 27/VIII 1939 г. Под-
писана и печати 11/XII 1939 г. Изд. Д-б.
Лендистиздат № 308. Тираж 25 000 экз.
Леноблгорт № 5838. Заказ № 2176.
Формат бум. 70×92¹/₁₆. Печ. лист. 3¹/₁₆.
У. а. л. 3,15. А. а. 2,98. (74.880 тип эк.
в 1 бум. а.) Бум. лист. 1⁷/₁₆.

2-я фабрика детской книги Детиздата
ЦК ВЛКСМ. Ленинград. 2-я Совет-
ская ул., 7.

Цена 1 р. 25 к. Переплёт 75 к.



10

130-00

